

М.С. Плюханова

*Мне кажется,
что мы не расставались...*

Воспоминания



Редактор *Нэлли* Абашина-Мельц
Набор: *Катрин* Дорошкевич
Корректор *Людмила* Еланская
Верстка и макет: *Майя* Мельц

Оформление серии: *Маарья* Райд

Copyright by M.S. Pljuhanova

ISBN 9985-27-46-5

© М.С. Плюханова, 1999

© Издательство Александра, 1999

Воспоминания Марии Сергеевны Плюхановой (урожд. Киршбаум)
опубликованы частично в журнале “Таллинн”
(№№ 8-9, 10, 11, 12, 13, 1997-1999). Для настоящей книги написаны
новые главы и предоставлены фотографии из архива автора.

МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО МЫ НЕ РАССТАВАЛИСЬ

РЕВЕЛЬ. БЕЖЕНЦЫ. НАША СЕМЬЯ

Мне все время теревит душу мысль, что я обязана рассказать все, что знаю и помню о жизни русских беженцев в Эстонии в 1920-е и 1930-е годы.

Тогда Эстония — маленькая Эстляндская губерния, получившая из рук большевиков самостоятельность в 1920 году, представляла собой государство со смешанным населением. Ее восток — Принаровье, Причудье и Печерский край, а также сланцевый бассейн на севере — это все земли, населенные тогда в основном русскими. Но несмотря на такие четко разделенные зоны, жили все мирно.

В Ревеле (впоследствии Таллинн) в 1920-е годы население состояло из эстонцев, русских, немцев и нескольких тысяч евреев. Более благополучно жившие эстонцы — это государственные чиновники, владельцы предприятий и их служащие, мелкие предприниматели, лавочники. Местные прибалтийские немцы потеряли многое — у них были отрезаны от имений все угодья и оставлены только барские дома с садами и огородами. Но у некоторых из них в городах были еще дома, которые оставались в их руках и приносили какой-то доход. Нет, они не производили впечатления людей бедных, отнюдь. Они несли на себе печать чего-то устойчивого, старорежимного. По улице шествовала какая-нибудь баронесса в элегантном пальто довоенного образца, в шляпке с вуалеткой, в перчатках и обязательно на высоких каблуках. Они были горды и вели себя независимо, ничуть не меняя манеры поведения, устоявшейся за сотни лет. И по-эстонски все они говорили. С акцентом, но говорили. Евреи

— это были постоянные жители Эстонии — торговцы, мелкие ремесленники, а также адвокаты, врачи. Мне кажется, что в их жизни с самостоятельностью страны мало что изменилось. И наконец, русские. Русские — это какой-то процент и до войны живших здесь людей обеспеченных, скорее всего купцов, коммерсантов, учителей. Но все это терялось в огромной массе беженцев, а главным образом в растерзанных остатках армии генерала Юденича. Юденич закончил бесславную войну именно в Эстонии. И остались здесь в Ревеле, в этом небольшом губернском городе с населением в несколько десятков тысяч человек, сонмы солдат белой армии, бездомных, ничего не умеющих, замученных войной, голодом, вшами и сыпняком. Они сконцентрировались на окраине в районе Копли и долгие годы, ощущая себя покинутыми Богом, тянули там в бараках свою безысходную жизнь. Эстонцы их не гнали. Относились с терпимостью. Понимали — куда же их погонишь? С двух сторон море, с востока — страшная для них Совдепия, а с юга почти такая же маленькая, как Эстония, Латвия.

А правительство, как могло оно им помочь? Республика сама впервые входила в самостоятельную жизнь. Все надо было налаживать заново. Издавать новые законы, подчинять все этим законам. Накормить, обуть, одеть всю свою маленькую страну. Какие возможности для массового воровства, для несправедливости, для обмана! Но что-то я не помню крупных процессов, разговоров о взяточничестве. Никаких возмущений действиями начальства. Этой темы как-то не существовало.

Ну а беженцы — куда деваться — они были. Русские у Чудского и Псковского озер кормились рыбой, Печерский край как сидел на земле, так это и продолжалось, русские сланцевого бассейна, в большинстве своем тоже солдаты армии Юденича, понемногу поднимали на-гора сланцы, а вот эти несчастные, оказавшиеся в Ревеле никому не нужными, — что им было делать? Они кроме, как воевать, ничего не умели. В самом начале 1920-х годов некоторым повезло, и они какое-то время работали за городом в местечке Мяннику — чистили заржавевшие патроны. Среди них и моя сводная сестра. Рядом с ней на длинной скамье за такой же работой сидел генерал А.О.Штубендорф. Но это счастье было недолгим, а дальше снова беспросветная нужда.

Оставался Запад. Но на какие деньги им двинуться и кому они нужны — нищие, без языков, без профессий?

Были, правда, и такие (но это из числа беженцев, а не военных), что, продав свой скарб и собрав кое-какие денежки, уезжали. Кто в Прагу, кто в Париж, а кто и в Бразилию. Уехали Гирсы, граф Игнатьев, Срезневские, Шмеманы (всем в зарубежье известного священника А.Шмемана и его двойняшку брата я помню маленькими мальчиками. Я была подружкой их сестры Рыжика, которая умерла ребенком). Уехал бывший градоначальник Петербурга Фулон, уехал Яхонтов, Клочковский — всех и не вспомнить. Но это единицы, а остальные, вернее, основная масса — как могли они выжить?

Этот вопрос встал тогда перед моей матерью. Она понимала, что русские сами должны взять это в свои руки.

В детстве я была уверена, что мама моя самая красивая, умная и самая добрая из всех людей на свете. И, должно быть, это не такой уж частый случай, что и сейчас, в 79 лет, я могу с убеждением сказать, что не встретила на своем веку человека в такой мере одаренного этими замечательными свойствами. Чтобы перейти к ее энергичнейшей деятельности в эмиграции, я должна хоть немного рассказать о ее жизни. Жизни вообще-то мучительно трудной, прожитой честно, самоотверженно, часто вдохновенно, с глубокой верой в Бога и в добро, которое должно делать.



Марианна Петровна
Киршбаум (урожд. Блок).
1923 г.

Мама моя Марианна Петровна Блок родилась в Петербурге в русской дворянской семье. Отец ее Петр Львович был правнуком Ивана Леонтьевича Блока — лейб-хирурга наследника Павла Петровича. Русское дворянское достоинство и герб были ему пожалованы Екатериной II. Был Иван Леонтьевич действительным статским советником, помещиком Петербургской губернии. Поместья ему были пожалованы уже императором Павлом I. Сын его Александр Иванович был тайным советником, управляющим собственной Его Величества Канцелярией. В блоковском музее в Петербурге есть картина — огромный кабинет Александра

Ивановича, обвитый плющом, с ковром во всю комнату, а на ковре маленькая собачка. У его сына Льва Александровича, вице-директора Департамента таможенных сборов, женатого на А.А.Черкасовой, было четверо детей. Александр Львович — отец поэта Александра Блока — стал профессором гражданского права Варшавского университета, его брат — мой дед Петр Львович — тоже юрист, работал в Петербурге присяжным поверенным (по нынешним понятиям — адвокатом). Женился он на дочери тайного советника Н.А.Качалова — Александре Николаевне. В тот же день сестра обоих братьев Блоков Ольга Львовна обвенчалась с Николаем Николаевичем Качаловым — будущим Архангельским губернатором. Таким образом в один день состоялись две свадьбы. Брат и сестра Блоки обвенчались с сестрой и братом Качаловых. Крест на крест. То есть оба эти рода обрели абсолютно одних и тех же предков. Был у Блоков еще один брат — Иван Львович. В 1906 г. в бытность его Самарским губернатором он был убит эсеровской бомбой.

Тут мне хоть в нескольких словах нужно рассказать о моем отце Сергее Владимировиче. Он был родом из обрусевшей семьи Киршбаумов. Его дед Федор Богданович в 1836 году окончил богословское отделение Дерптского университета, впоследствии был определен гувернером и преподавателем в Царскосельский Лицей. В молодости ездил в заграничное путешествие вдвоем с сыном историка Карамзина. В 1866 году был пожалован орденом св. Владимира, что дало ему право на потомственное дворянство. Одним из восьми его детей был мой дед Владимир Федорович. Человек больших деловых способностей, он сделал быструю карьеру на государственной службе. Выйдя еще молодым в отставку, продолжая энергично работать, он создал себе крупное состояние. С 70-х годов XIX века и вплоть до большевизма был владельцем типографии Министерства финансов, расположенной на Дворцовой площади в известном здании Генерального штаба с аркой. Принадлежали ему еще и другие крупные предприятия. В имении “Загорье”, что стояло на берегу озера Щир под Лугой, жена его завела образцовое хозяйство, какие-то необычайные конюшни, а коровам в хлев автоматически подавались корм и вода. Остатки этой роскоши недавно еще можно было отыскать на месте разрушенного имения.



Сергей Владимирович Киршбаум. 1899 г.

В 1913 году дед с гордостью объявил, что теперь все его шестеро оставшихся в живых детей, в том числе и мой отец, обеспечены до конца их жизни. Но тут началась война, за ней грянула революция, а уж советская власть все решила иначе. Так, например, одну из его дочерей Ольгу Владимировну выгнали в

чем она была из ее собственного дома в Петербурге с двумя дочерьми и долгое время она ночевала в дежурных аптеках. Дочерей ей все-таки удавалось пристраивать у знакомых и друзей, правда, всегда ненадолго, снова и снова переводя их из одной доброй семьи в другую. Все жили тогда, скованные страхом, и боялись даже детей лишенцев. Старшая сестра отца Мария Владимировна погибла нелепо и трагично. Мы с отцом жили к тому времени уже в Эстонии.

К нам путем оптации присоединился и дед Киршбаум — кстати, у него под Кейла было когда-то имение Лехола, которое он, к нашему несчастью, перед самой войной зачем-то продал. В 1924 году теть Маня, уже имея на руках документы на оптацию в Эстонию, сама роковым образом перевернула свою судьбу. Некий Маклаков, весьма известный в дореволюционной России человек, убегая во время гражданской войны за границу, оставил у моей тети свои драгоценности. Она считала своим долгом их ему вернуть и для этого приняла безумное решение — нелегально перейти границу с ценностями Маклакова. Потом так же нелегально вернуться и, забрав то немногое, что у нее самой оставалось из золотых вещей и что разрешалось перевезти, ехать уже открыто в Ревель к отцу и брату. Ее при первом же переходе границы схватили, препроводили в Гдовскую тюрьму, где она и скончалась от сыпного тифа.

Но вернемся в пору молодости моих родителей.

Мама моя и сосед Блоков по имени Сергей Владимирович Киршбаум в юные годы полюбили друг друга, но бабушка Блок считала нужным вершить судьбы детей своих самовластно и выдала дочь за подполковника Андреева, человека совсем другого мира. От Андреева у мамы было трое детей. На японской войне Андреев был сильно контужен в голову. В книге графа Игнатьева “50 лет в строю” сказано: “Жаль полковника Андреева, храбрый был офицер”*. И тут мама совершила свой первый “поступок”. Поехала на Дальний Восток — до Иркутска поездом, а потом более четырех тысяч километров на лошадях и привезла мужа в Петербург, всю дорогу продержав его голову на своих коленях. Он остался жив, но был подвержен внезапным припадкам — неожиданно падал, теряя сознание. Он был яхтсмен, и вот как-то летом они вдвоем с моим дедом пошли на яхте через озеро Щир. Пошли и пропали. Мама побежала к рыбакам. Темнота упала быстро, и рыбаки уже с огнями на лодках начали обыскивать очень большое озеро. А мама стояла на берегу — ждала. На середине озера нашли наконец опрокинутую яхту и деда, который несколько часов, не умея плавать, продержался одной рукой за борт яхты, а другой держал за волосы уже мертвого зятя. У полковника случился припадок, он упал на борт и перевернул лодку. Так мама в 25 лет овдовела, оставшись с тремя маленькими детьми.

* У Игнатьева сказано, что Андреев убит; на самом деле он был сильно контужен в голову.

Папа мой к этому времени так еще и не женился и все это время продолжал маму любить. После гибели Андреева папа возобновил свои ухаживания, а мама еще три года не решалась из-за детей на второй брак. Но в 1908 году они поженились и прожили всю жизнь в согласии и любви.

Родители, как и большинство состоятельных русских людей, как и дед мой Владимир Федорович, держали свои деньги в России, но больше того — с началом смутного времени они сложили все свои ценности и сдали на хранение в банк. И деньги, и ценности были национализированы, предприятия деда и обширное поместье Киршбаумов также, и остался мой отец с большой семьей на руках гол как сокол. В 1919 году он, забрав четверых детей, — двое старших Андреевых были уже взрослыми — бежал в Эстонию.

В Эстонии постоянно жила немецкая ветвь рода Киршбаумов. Одинокая сестра моего деда Наталья Федоровна и брат его Евгений Федорович с женой и дочерьми. Вот поэтому мой отец и подался в Ревель. С поезда сошел он сам, а за ним еще шесть душ. Взял он подводу, и поехали мы на улицу Кентмана, где в хорошей просторной двухкомнатной квартире жила его тетка Нелли. На звонок открыла ее прислуга Мили и с ужасом воззрилась на эту толпу незнакомых людей. Зато тетка ни на минуту не потеряла присутствия духа. Моментально разобравшись в обстановке, она приказала Мили топить ванну, а нас никого не выпустила из передней, пока мы не помылись и не переоделись в основном в ее вещи. Потом только всех накормила и спокойно сказала: “Жить будете в большой комнате”. Там мы и прожили несколько месяцев целиком на ее иждивении.

В первые годы жизни в Ревеле отец мой, окончивший Петровско-Разумовскую, а ныне Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, успешно работал в А/О “Атланта”. Через Эстонию в те годы транзитом шло зерно в Европу, и он устанавливал его сортность и цену. В эти недолгие годы мы жили благополучно. Правда, квартира была хоть и трехкомнатная, но лишенная каких бы то ни было удобств. Это было в доме на улице Лай, 45. Наши окна выходили на старинную конную мельницу и рассказ о бедной слепой лошади, которая целый день ходит по кругу (зрячая этого бы не выдержала), был одним из первых тяжелых впечатлений моей сознате-

льной жизни. Все неудобства нашего жилья не мешали родителям почти ежедневно принимать гостей, и кто только не чаевничал тогда за нашим овальным столом с восемнадцатью ножками. К 1924 году поток зерна из России иссяк, и отец работы лишился надолго. Кому в маленькой Эстонии нужен был ученый агроном? Богатых имений уже не было, хуторянам — зачем им агроном? А в министерство русскому, да еще без всякого знания языка, вход был заказан. И тут мы перешли на полное попечение матери. Она знала в совершенстве английский, французский, немецкий и стала давать частные уроки. На этот скудный и неверный заработок мы и жили. Переехали в другую, уже четырехкомнатную квартиру на краю Полицейских огородов. Нынче это Полицейский сад. Но тогда он простирался налево вдоль улицы Рауа до Крейцвальди, и не было в те времена ни генеральского дома, ни Дома радио, ни отеля Кунгла, ни 6-й школы. Это все были огороды, сдававшиеся частным лицам. А дом был новый, вход отличный — перед учениками не будет стыдно. Расчет был на то, что одну или в случае необходимости даже две комнаты будем сдавать, вот, глядишь, половина квартирной платы уже есть. Все это были очень наивные планы. Жильцы приходят и уходят, временами надолго. А день уплаты хозяину неминуемый. Сколько мама натерпелась с этой квартирой. То мы шли с ней с пустыми руками и хозяин — эстонский учитель, сам не очень уж большой богач, идя ей навстречу, обещал подождать. То мы несли ему в залог папины золотые часы, надеясь скоро их выкупить. Но месяцы бежали, долг рос, и в конце концов часы остались у него.

Нельзя сказать, что папа все это время ничего не делал. Он очень мучился своей непригодностью и часто пытался что-то создать, где-то устроиться. Так он на пару с одним богатым эстонцем, который знал отца по работе в А/О “Атланта” и безоговорочно верил в его честность, открыл на Нарвской улице дровяной двор. Деньги компаньона, папина работа. Барьши пополам. Папа со знанием дела закупал оптом дрова, а потом без всякого знания дела ими торговал, часто в убыток. Ну как содрать лишнюю копейку с какой-нибудь старушки? В общем, года через полтора—два двор закрылся.

В конце 1920-х годов отец отлично работал в Печерском краю у баронессы Бюнтинг. Ей, правдами или неправдами, при ее большом уме и ловкости удалось удержать сравнительно большое количество

земли — остатки бывшего имения. Имение было без барского дома — он сгорел во время всех катаклизмов. Отец за два года работы не только наново отстроил убогий дом управляющего, построил глинобитный сарай, привел в порядок конюшню и скотный двор, но и наладил работу на земле. Луга стали давать сено в имение, а не ночным ворам, увозившим только что скошенную траву целыми возами на свой двор. На полях рос хлеб не только тот, что нужен в хозяйстве, но и на продажу. И это все без единой, что называется, “штатной единицы”. Все работы соседние крестьяне делали исполу. Скосил луг, высушил сено — вези один воз в новый сарай Владимирьча, а другой — на свой собственный сеновал. Папа каждый день, взяв меня за руку, обходил какой-нибудь участок имения, подолгу задерживался у каждого поля, разминал своими красивыми длинными пальцами землю весной перед севом, шелушил перед жатвой колос и, высыпав зерно на ладонь, пробовал его на спелость, решая, когда же начать. Крестьяне очень скоро к нему привыкли, стали приходить не только так, просто побеседовать, но и за советом — а это уже признание. Потом что-то не заладилось с баронессой Бюнтинг, и папа стал работать у графини Берг, которая сводила леса в Валкском районе, ей нужен был специалист-консультант. Но и это длилось недолго.

В безработные годы папа разводил очень большой огород, и я помню целое лето, когда мы ничего не покупали, кроме 1 литра красной смородины в день (она стоила 5 центов литр), ну и, конечно, сахар, хлеб, молоко, муку, немного масла. Все остальное шло с огорода. Мама делала овощные супы, запеканки, блины и клецки, все это было вкусно и как-то не надоедало. Частенько папа и сам готовил. Например, когда мама водила по городу туристов. Он был великий кулинар, только продуктов ему требовалось гораздо больше, чем маме. К тому времени сводная моя сестра получила по линии своего отца, если не ошибаюсь, из Финляндии порядочное наследство, сразу переехала от нас и зажила вдвоем со своей бывшей нянькой, подарив ей продуктовую лавочку.

Все мамины заработки уходили на квартиру. Квартиры были непомерно дороги. И тут выручал ломбард. Из месяца в месяц, из года в год вижу маму, сидящую за столом и раскладывающую пасьянс из ломбардных квитанций. Налево — те, что требуют лишь уплаты про-

центов, направо — те, что надо обязательно выкупить, а потом сразу же снова заложить. Тут начинались поиски человека, который даст деньги в долг на один день. А иногда, несмотря на пасьянсы, мама пропускала срок, и вещь шла на продажу в ломбардный магазин. Один раз не успела моя бедная мама и в магазин. И ушла папина визитка с брюками в полоску, а она ему была нужна через три дня на встрече кадетов I кадетского корпуса.

Мама, как всегда сделала невозможное. Она достала где-то денег, купила полосатый материал и отнесла его вместе с какими-то старыми брюками для образца знакомому портному эстонцу. Тот, войдя в мамино положение (ей так не хотелось лишать мужа традиционной встречи с друзьями), согласился сшить за два дня и даже подождать с деньгами. Сама она отреставрировала, почистила и отутюжила папину старую-престарую визитку (визитка — это сюртук с закругленными длинными фалдами, а закрывается визитка на одну пуговицу). Папа, облачаясь, ничего не заметил — таковы уж мужчины, а наоборот, остался всем очень доволен.

Был еще один ужасный случай, связанный с ломбардом. У родителей было кое-какое столовое серебро, которое они захватили с собой из буфета при бегстве из России. Дюжина чайных ложек, шесть столовых приборов, сахарница. Как-то вечером мама ломала голову над тем, как завтра выкупить это наше последнее богатство. В этот момент пришла более чем близкая нашей семье женщина. Узнав, в чем дело, она предложила свои услуги. И тут же взяла квитанции. Мама сказала что это хлопотно, может быть, она ей сразу даст деньги, мама завтра выкупит, снова заложит и тут же деньги этой женщине вернет. Но та отказалась. Ей совсем не трудно. Все будет в порядке. Проходит завтра, послезавтра, неделя — о нашей благодетельнице ни слуху ни духу. Так она и не пришла. Мама была в отчаянии. Ведь серебро ушло меньше чем за полцены. Но к ней не пошла. Папа ходил чернее тучи, но выяснять дела тоже не стал. Считал ниже своего достоинства. Много, очень много лет спустя, мы были званы в этот дом на какой-то юбилей. Мама, всегда жаждавшая мира, уговорила управшегося отца пойти. Но когда нас пригласили к столу и перед каждым лежала наша вилка, наш нож, наша ложка, а перед папиным прибором, как нарочно, стояла сахарница, папа молча встал и вышел.

В летние месяцы уроки кончались, и тогда мама водила по городу

туристов. Город древний, с очень интересной старинной архитектурой. Есть что показывать. Мама изучила Таллинн досконально и стала ходить к каждому пароходу с туристами. Конечно, было несколько униженно стоять, как на выставке, в ряду остальных и ждать, чтобы тебя выбрали. Но маму всегда выбирали, и она неплохо зарабатывала. Относительно, конечно. Ведь пароходы бывали далеко не каждый день. В 1930-е годы появились трудности. Начальство стало предъявлять совершенно невероятные требования. Все гиды каждую весну должны сдавать экзамен по знанию города... на эстонском языке. Было бы понятно, если бы проверяли знание иностранных языков. Но нет. Сдавать надо было по-эстонски. Мама в какой-то мере владела уже этим языком, но это годилось для лавки или для рынка. Но экзамен... И что же она предприняла? Она попросила кого-то перевести ее текст на эстонский и выучила все это наизусть. Это был нечеловеческий труд. Только способности к языкам кое-как ее спасали. Экзаменаторы были к ней снисходительны, и каждый год экзамен у нее принимали.

С годами родителям стало легче. Во-первых, старший мой брат с 15 лет стал работать. Утром бежал в гимназию, обедал и ехал на велосипеде развозить по городу почту и заниматься другой мелкой работой у знакомого предпринимателя. Приезжал домой после девяти. Погладив меня по голове, просил вытереть его велосипед, а сам съедал запоздалый ужин и начинал готовить уроки. И так изо дня в день. Уставал ужасно, но зато для дома нашего это был выход — хоть и небольшие, но регулярно получаемые деньги. С братом мы очень скоро расстались. В Эстонии неимущие русские не могли дать детям высшее образование. В Таллинне университета не было. Был он только в Тарту. Стипендии нансенисты* не получали. Им надо было нанимать в Тарту квартиру, как-то питаться. Платить за университет. Такое предоставить своим детям могли немногие. А во Франции существовало общество, которое возглавлял Михаил Михайлович Федоров. Он опекал русских студентов, давал им стипендии, помогал в других проблемах. Мама списалась с Федоровым и отправила Диму матросом на эстонском судне рейсом Таллинн — Кале. Он поселился у нашего друга Ю.М.Клочковского в Лилле и поступил там в университет. Юти-

* Нансенисты - обладатели нансеновского паспорта.



Владимир Сергеевич Киршбаум.
1939 г.

лись они с самоотверженным Ключковским в одной комнате. Юлиан Михайлович зарабатывал таксистом и всячески помогал Димке и даже баловал его. Дружбу свою они сохранили в течение 50 лет.

А мы решились расстаться с нашей квартирой только в начале 1930-х годов. Наняли три маленькие клетушки в деревянном доме без всяких удобств на улице Тина. Финансово стало гораздо легче. Но отец очень тяжело переносил убогость нашей жизни. В это время закончил гимназию и второй мой брат Сергей Сергеевич. Он сразу же посту-

пил на шелкоткацкую фабрику “Ээсти сийд”, которая принадлежала русским хозяевам, и работали на ней в основном русские. Сергей попал в ночную смену и проработал там несколько лет. Потом перешел на дневную работу на ящичную фабрику “Стандард”, и отсюда с этого скромного места началась его карьера крупного специалиста деревообрабатывающей промышленности. Когда-то отец сказал: “Сергей из моих детей самый скромный”. Брат был действительно скромнейший человек. С большим чувством юмора и редчайшим свойством — заинтересованностью во всех встречавшихся на его пути людях. Идти с ним по городу было мукой. Он останавливался буквально каждые пять шагов, и начиналось энергичное, взволнованное обсуждение всех проблем его собеседника. И так всю дорогу. Его знал весь город, хотя, казалось бы, кто он такой, чтобы быть таким уж знаменитым. Он и не был знаменитым. Его просто любили.

Мы все знаем, что большинство фронтовиков со страстью предаются рассказам о своих военных подвигах. Нет-нет да свернет какой-нибудь сосед по столу на эту тропу, и тогда его уже не отвлечь никакими силами. Брат мой, начав войну в июле 1941-го, провоевал



Сергей Сергеевич Киршбаум. Март 1946 г.

с немцами еще некоторое время и после победы, потому что происходило это в Курляндском мешке. Немцев со всех сторон окружало море, а боеприпасов и продуктов было свезено им туда на целую армию. Куда им было спешить? Они и не торопились сдаваться наследившим на них частям эстонского корпуса. Бились они беспощадно, и корпус понес большие потери. Брат мой был командиром противотанковой

батареи, то есть всю фронтовую жизнь провел на передовой. Но я, родная сестра, не слышала от него ни одного рассказа из времен войны. Так, улыбнется на чей-нибудь вопрос в лоб и переведет разговор на другую тему.

В 1936 году, окончив гимназию и некоторое подобие техникума, я тоже начала работать. А тут папа получил от друга своего Владимира Адольфовича Вернера поручение присмотреть для его фирмы хороший дом. Фирма решила обзавестись недвижимым имуществом.

Папа стал часто и надолго уходить в город, но неохотно нам рассказывал о своих планах. Длились эти поиски долго. Вернер любил все первосортное. Как-то после работы мы все трое — мама, брат и я были дома. Вошел отец. Предложил всем сесть у стола и встав напротив нас с необычайно таинственным видом сунул руку в карман, вытащил десятикрупную купюру (а тогда это были большие деньги — первое мое жалованье составляло 5 таких купюр в месяц) и положил ее на середину стола. Затем последовала другая, третья; круг за кругом он укладывал все новые десятикрупные бумажки. Мы глазам своим не верили. Мама сразу же спросила, кто ему дал столько в долг и когда надо отдавать. Он с независимой миной сказал, что деньги эти им заработаны, что это комиссионные от фирмы за проведенную им сделку. Все мы были счастливы, а отец больше всех.

Теперь можно было со спокойной душой отдать все долги, всем нам придется и переехать наконец в хорошую квартиру. Конечно, во всем папином поведении в этот вечер было много игры. Это был заранее продуманный и талантливо исполненный спектакль. Но это ему было так свойственно. Когда-то в молодости он начал брать уроки пения у знаменитого в те времена оперного певца Тартакова. У отца был удивительной красоты баритон, абсолютный слух и врожденный артистизм, он был высок, хорош собой. Тартаков сулил ему большое будущее. Но родители, люди консервативные, а главное, оба суровые по натуре, категорически запретили сыну идти на сцену. В те времена, в конце 19-го века, дети из хороших семей и думать не могли пойти в комедианты. Отец им повиновался, но мне сдается, что жизнь его этим была поломана. А склонность к сюрпризам, розыгрышам, шуткам, имитированию всех и каждого осталась навсегда. Может быть, это было наследственное. Дед его по матери вывез уходом на лошадях красавицу цыганку из табора и тою же ночью с ней повенчался. Когда же мой дед, русский дворянин немецкого происхождения женился на их дочери, в его семье это было встречено по меньшей мере с удивлением. Но у меня хранятся документы из Петербургского архива, что вся его семья, включая жену и всех детей, являются потомственными дворянами. Такие уж были законы.

Но я уклонилась от темы. Вернемся к самому началу 1920-х гг.

ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ БЕЖЕНЦАМ.

Мы идем с мамой за руку по пустынному, недавно проснувшемуся городу. Большинство улиц на нашем пути вымощены огромными круглыми булыжниками, а между ними растет трава. Мне жалко наступать на траву и я прыгаю с булыжника на булыжник. Мы идем



Мария Сергеевна Киршбаум . 1935

на рынок и говорим по-французски. Это единственные часы, когда мама может заняться со мной языком. Базар в самом центре города и очень большой. Он начинается у немецкого театра и кончается у аллеи, ведущей к нынешнему универмагу. В середине он весь заставлен телегами, а справа, вдоль театра “Эстония” тянутся ряды, крытые полосатым полотном. Здесь опрятные, одетые во все белое эстонки продают масло, творог, сметану. Они очень приветливы. Всегда дадут ребенку попробовать. В каменном павильоне мясные ряды, а за стеной павильона длинная череда огромных бочек с селедкой. Продавцы в кожаных фартуках огромными вилками достают рыбу из бочек и ловко упаковывают их сначала в пергамент, потом в газету. Покупателей здесь всегда много. Селедка с картошкой — самая распространенная, самая дешевая еда. А на второе большей частью все едят клюквенный кисель. Меня привлекает площадь, заполненная телегами и лотками, где продаются фрукты, а зимой — в основном сушеные яблоки и клюква.

Мы бредем назад, и я уже не прыгаю и с трудом отвечаю на мамин французский.

Дома, в нашей неудобной вытянутой передней, уже сидят люди. Это русские беженцы. Мама, обладающая редкой энергией, создает “Общество помощи больным беженцам”. Потом его переименовывают. Слово “беженцы” заменяется словом “эмигранты”. Мама со-

бирает нескольких новых друзей (ведь мы в Ревеле совсем недавно), и они организуют комитет. Собираются у нас. “Мамины дамы” — так мы, дети, их называем, хотя дам всего четыре. Это бывшая классная дама Смольного института Лидия Владимировна Серебрякова — мамин бессменный заместитель. Она так и выглядит классной дамой. В темно-синем платье с черной бархаткой на шее. Всегда выдержанная, спокойная, удивительно скромная Евгения Павловна Кашнева, чья девичья фамилия мне необычайно нравится — Газдава-Ганская. Как-то связывающая общество с местными немецкими кругами Маргарита Карловна Миндинг. Казначей — толстый уютный Михаил Дмитриевич Руссин, секретарь — Клементий Васильевич Шуманский — всегда подтянутый, в высоком крахмальном воротничке и в очень, даже до блеска, потертом, во все годы, сколько я его помню, одном и том же черном костюме. Впоследствии уехавшего Шуманского сменяет генерал Алексей Оттонович Штубендорф. Понемногу, понемногу берутся на учет совершенно неимущие, больные и беспомощные. Начинается сбор денег. Члены общества ходят с подписными листами по предприятиям, по магазинам, просто по частным лицам. Мама договаривается с русским врачом — доктором Федоровым, что он будет принимать больных по ее записке бесплатно. Она идет на прием к министру здравоохранения, и ей выделяют не единовременно, а на постоянное пользование несколько коек в городской больнице. Она доходит до главы государства и получает какие-то субсидии.

Говорила мама со всеми по-русски. Большинство эстонской интеллигенции того времени получало образование в Петербурге — так в начале века было принято, и знали они язык не хуже мамы. К тому времени, когда я начала работать, это уже изменилось. Бывала мама и у Тыниссона, и у Эйнбунда-Энпалу, и у Пятса. Как я помню, она всегда возвращалась из такого официального похода сияющая — это значило, что все удалось. Ни о какой волоките никогда не было и речи. Обещали — это значит, уже дали. Почему люди так изменились?

В 1927 году Б.А. Никольский, организатор созданного за год до того Постоянного Бюро Русских Меньшинств в Женеве, писал: “Справедливость требует указать, что среди стран, в которых ока-

зались русские меньшинства, на первом месте по порядочности отношения к меньшинствам стоит Эстония...”*

Деятельность свою общество расширяет. Кроме комитета находятся люди, всегда готовые в нужный момент помочь в организации каких-нибудь крупных дел. А дел таких было немало.

В парке Екатериненталь (впоследствии — Кадриорг) недалеко от Екатерининского дворца, который Петр I подарил своей жене, стояли тогда большие крытые деревянные павильоны с колоннами. Здесь в царское время играли оркестры. В этих павильонах общество летом организует лотереи. Задолго до этого события, а это действительно бывало событием, члены комитета и их помощники начинали обходить купцов, владельцев мелких лавочек, фабрикантов с просьбой пожертвовать что-нибудь для лотереи. Теперь, спустя много десятков лет, мне кажется, что тогда у людей сердца были более открытыми, чем сейчас. Хотя нынче, несмотря на постоянные тяготы, все живут лучше, чем в те страшные для эмиграции годы. Все что-нибудь жертвовали, хотя бы несколько карандашей и резинок. В результате собиралось большое количество разных мелочей, а среди них попадались и хорошие вещи. Какой-нибудь купец побогаче жертвовал велосипед, и его в павильоне подвешивали на самом виду под крышей. Появлялись большие плюшевые звери и множество маленьких, оловянные солдатики и еще много чего интересного для детворы. И тут у нас в доме начиналась работа. Вечерами все мы, дети, садились за круглый стол и под маминым руководством крутили билетки с номерами и печатью Общества. На скрученный билетик натягивалась резиночка. Эти билетки складывались в крутящиеся стеклянные барабаны. Оттуда их и вытягивали. Одновременно этот номер ставился в списке выигрышей напротив наименования вещи, а третий номерок наклеивался на сам выигрыш. Самое трудное было потом в павильоне разложить вещи в таком скрупулезном порядке, чтобы в толкотне и гвалте без задержки выдать вещицу предъявителю билета. Публика, целый день переполняя трамваи, ехала в парк погулять, а заодно и побаловать детей. Плата за билет была мизерная, но поскольку вещей набиралось много, то и сумма доходов была немалой.

* Взято из Нового Журнала. Кн. 141, 1980, С. 221.

Здесь, заскакывая далеко вперед, уже во времена моей молодости, я хочу рассказать забавный эпизод. Очень уж он напрашивается к теме благотворительных лотерей. На каком-то балу мой приятель Юрий Штубендорф пригласил меня поиграть в лотерею. Это был большой стенд с великим множеством разных привлекательных, а иногда и не очень привлекательных вещей, а с двух концов, в виде главных приманок восседали две очень большие куклы в белых париках, в широкополых шляпах и в пышных элегантных платьях, отделанных кружевами. Одна вся в голубом, другая в розовом. Придуманы они были для украшения дивана. Юрий, человек состоятельный, купил сразу уж очень много билетов и предупредив меня, что ему необычайно везет в лотереях, повел в сторонку, где мы и начали в четыре руки сдирать с билетиков, закрученных в трубочку, резинки и с интересом искать номерки с печатью. Но билет за билетом, а номеров выигрышей все нет и нет. Из всей этой массы их оказалось только два. Обескураженный, Юрий мрачно направился со мной к стенду и подал билеты с номерками. Дама у стенда сначала опешила, ринулась к кому-то шептаться, потом подбежала к нам и стала убедительно просить оставить наши выигрыши стоять на полках до конца вечера, иначе в лотерею больше никто играть не будет. Я выиграла обе нарядные куклы. Мы, конечно, согласились, и домой я ехала с двумя куклами на коленях. Впоследствии одну из них, голубую, я в дни своих бедствий продала нашей мясничихе, как сейчас помню — за 400 рублей. А розовой, к тому времени достаточно поврежденной, долго потом играли мои дочери. Но это так, к слову.

Зимой наступало время, когда вся наша квартира просто делалась складом поношенных, правда, всегда чистеньких и выглаженных вещей, собранных по всему городу теми же бессменными дамами-благотворительницами. Вещи обычно бывали детскими. А у комитета уже был список нуждающихся ребят, их рост и размеры. Все это распределялось беспристрастно. Сейчас, слыша о работе многочисленных фондов, где все постепенно разворовывается, а потом фонд сникает и пропадает, я вспоминаю, какие среди этих вещей бывали хорошенькие платица и школьные формы, но маме и в голову не приходило взять для меня хоть одну пару чулок, при том что в школу, а потом и в гимназию я ходила в чулках не то что заштопанных,

но просто с большими заплатами на пятках, поскольку штопать их уже было невозможно. А форму мама мне комбинировала — из цельных мест сношенных уже брюк моих братьев, сшитых когда-то ею же из “чертовой кожи”, материала самого дешевого и в то же время крепкого.

Мне хочется еще напомнить, казалось бы, мелочь, что в те времена ни у кого из нас не было телефонов и все эти бесконечные переходы по городу совершались членами общества и их помощниками в любую погоду и зачастую в очень скверной обуви.

А какие устраивались каждую зиму балы! Клуб черноголовых* предоставлял свой зал бесплатно, и вот начинался обход (все по тому же кругу — ведь город-то маленький) с предложением билетов. Некоторые люди побогаче за билет платили больше назначенной цены, но все это учитывалось, так как все подписные листы штемпелевались, не знаю где, то ли в Ратуше, то ли в министерстве социального обеспечения.

Бал этот был очень популярным. Красивый зал, за ним гостиные, хороший оркестр, яркие люстры, нарядные дамы, интересные развлечения, выступления артистов. Там павильон, где продают шампанское, а рядом крюшон, где-то подальше — фрукты, тут, смотришь, “цыганка” гадает, а вот красавица в кокошнике разливает из самовара чай. В специальных комнатах, так называемых буфетных, можно было отлично закусить и даже поужинать. А главное — танцы, танцы до утра.

Дирижер во фраке и с белым бантом в петлице проводил вереницу танцующих через все комнаты и снова возвращался в блистающий огнями зал. Танцевали котильон. Для этого танца дамы готовили специальные, из разноцветных ленточек, сплissированные круглые значки.

Задолго до бала мама начинала сама выкраивать себе из старых теткиных кружев, какой-то черной подкладки и кусочков бархата прелестное платье и встречала как хозяйка бала гостей у дверей, одетая не хуже других.

На бал собирались все сливки общества: и эстонские буржуа — бывали и члены правительства, и прибалтийские бароны, и, конечно, самые скромные, уже не во фраках, а в простых черных костю-

* Дом Братства черноголовых на улице Пикк в Таллинне.

мах, но с достоинством державшиеся русские интеллигенты.

И чего только еще не выдумывали члены “Общества помощи больным эмигрантам”. Это и детские спектакли в здании немецкого театра, и five o'clock'и в том же зале Черноголовых, и праздники для детей с интереснейшими развлечениями. Из них я больше всего любила деревянную, навощенную даже не горку, а гору. Она возвышалась до самого потолка огромного зала, и с нее надо было скачиваться, сидя на суконке, и потом долго еще лететь со страшной скоростью по отведенной для этого на паркете дорожке. Лотереи, удочки — это когда тебе из-за ширмы нанизывают на заброшенную удочку подходящий твоему возрасту подарок. Или бочка, набитая опилками, из которых ты сама вытаскиваешь заинтересовавший тебя пакетик. Все это было платное, и все собранные деньги строго подотчетно сдавались в кассу, а потом тратились на лекарства, лечение и поддержание больных неимущих.

Уже через много десятков лет, будучи в Таллинне, я встретила глубокую старушку, Веру Смирнову, которая меня узнала и подошла со словами благодарности в адрес моей покойной мамы, и слезы стояли в ее совсем уже бесцветных глазах.

Но не только больные и неимущие эмигранты ценили так высоко мою маму, но и Международный Красный Крест прислал ей из Женевы большой почетный нагрудный знак и благодарственную грамоту. Работа эта бескорыстная, самоотверженная велась с самого начала 1920-х годов небольшой горсткой уже недоступных нашему пониманию людей и сошла на нет только в середине 1930-х, когда подросло уже новое поколение, хорошо знавшее язык. Надо отдать должное министерству просвещения. Изучение труднейшего эстонского языка с его непреодолимой грамматикой было и в начальных школах, и в гимназиях поставлено на самом высоком уровне. Благодаря этому и, конечно, благодаря мирным играм во дворах с эстонскими детьми, русские дети языком овладевали полностью. Эта молодежь как-то незаметно, хоть и не став эстонцами, вошла в эстонскую жизнь, полюбила эстонскую культуру, стала работать где угодно без всяких ограничений и содержать семьи. Таким образом, оставшиеся к тому времени в живых русские потихоньку, вместе со всей маленькой Эстонией начали вставать на ноги. Но это уже другое время и другие люди. Если бы только не война...

Уехала я из Эстонии в 1943 году. Уехала вынужденно и не предвидела тогда, как буду скучать по этой маленькой, родной мне республике до конца своих дней.

БЫВШИЕ ВОЕННЫЕ

Вне этого круга отвергнутых, судьбу которых принимали так близко к сердцу члены “Общества помощи больным эмигрантам”, в Ревеле в 1920-е годы жило еще и много офицерства. Прежде всего это был генералитет. И хотя мой отец не был военным, мы со всеми ними были знакомы домами, ходили друг к другу в гости. Оттуда я всех их и помню. Возглавлял эту военную элиту генерал Алексей Константинович Байов. У него довольно долгие годы регулярно по средам собиралось высшее офицерство. По-видимому, толковали они о судьбах России. Мой отец отзывался об этих сборищах как-то несерьезно и именовал их “ассамблеями”. Генерал Байов был хмур, напыщен и очень скучен. Надо сказать, что у высшего офицерства были еще какие-то финансовые возможности. Байов открыл магазин, небольшой, правда, который назывался “Русская книга”. Полковник А. Кудрявцев владел библиотекой, где было немало русской литературы и куда постоянно заглядывали русские интеллигенты — поговорить, обсудить последние новости, поставить прогнозы на ближайшее будущее России (тогда называвшейся в обиходе “Совдепией”).

Отец мой был с Кудрявцевым на ты — они были однокашниками по I кадетскому корпусу. На ты он был еще только с одним лицом в городе — может быть, по той же причине — точно не помню. Это был генерал-лейтенант Олег Петрович Васильковский. Очень высокий, очень красивый, ходил он зимой всегда в папаче и своей выправкой и наружностью обращал на себя всеобщее внимание. У него была красавица жена. Жили они очень замкнуто в самом порту, где он владел предприятием по снабжению судов всем необходимым. С генералом Байовым они не встречались. Политической жизни местной русской эмиграции он, как и мой отец, чурался. Я не знаю, почему Васильковские перед войной не уехали. Скорее всего из убеждений. Средств у них было достаточно. С приходом Красной Армии генерал был арестован и расстрелян, а жена его

Лидия Алексеевна с ее тонким станом и узкими, необычайной красоты руками была отправлена в какой-то захудалый сибирский колхоз на полевые работы.

Генералов было в Ревеле много. Помню хорошо Горбатовского — участника, уж не скажем героя, такой неудачной для нас японской войны. Помню его странно высокий для мужчины голос, вечно твердивший одно и то же слово “масоны”. В них он видел виновников всех несчастий России. И Байов, и Горбатовский умерли своей смертью и похоронены в Таллинне, а оба пасынка Байова — Воля и Сережа Заркевичи были арестованы и погибли в недрах НКВД.

Жили в Таллинне, и довольно благополучно, генерал Верцинский, адмирал Веймарн, генералы Вандам, Драке, Штубендорф, Зальца. А из молодых очень заметными были полковник К.Я.Колзаков, полковник В.К.Видякин, капитан Ф.А. Гизетти.

Владимир Константинович Видякин сыграл в судьбе нашей семьи важную роль. Мои родители весной 1918-го года (мне тогда было 2 недели от роду) уехали из Петрограда в маленькое имение Блоков Бровское, что под Лугой, недалеко от железнодорожной станции Струги Белые, а при Советах — Струги Красные. Отец справедливо счел, что на земле он семью прокормит, да и вообще лучше уехать из Петрограда от греха подальше и переждать смуту в деревне. И действительно, мы жили более или менее благополучно. Папа сам пахал, сеял, косил, развел огород. Были у него лошадь, корова. Мы не голодали. Но как-то ночью в окно постучали. Три мужика из соседней деревни пришли предупредить: “Ты с семьей уходи, Владимирыч. Мы тебя сегодня ночью жечь будем”. Папа запряг своего Шалуна, поставил на телегу сундук с теплыми вещами, швейную машинку, самовар. Посадил маму со мной на руках, 5-летнего сына Сергея. А сам со старшим сыном Владимиром (по-домашнему - Димой), падчерицей Ниной и ее бывшей нянькой пошел пешком, погоняя привязанную к задку телеги корову. Так они дошли до Гдова, где на некоторое время застряли, а затем пошли на Нарву, чтобы перебраться в Эстонию. В Нарве никак не могли добиться, чтобы кто-нибудь посадил их в поезд на Ревель. Всем было не до нас, и мама в отчаянии дошла до военного коменданта вокзала — полковника Видякина. Он устроил нас в поезд, но предупредил, что в этом вагоне только что перевозили солдат, болеющих сыпняком.



Константин Яковлевич Колзаков. 1930 г.

бракерами, снимавшими по всей Эстонии лес, лесопилками и своим начальством. Его называли в фирме “главноуговаривающим”. Свое красноречие и умение убеждать собеседников он применял, судя по всему, и в своей “засекреченной” политической деятельности. Скорее всего он был теснейшим образом связан с РОВС`ом*, если не его руководителем.

Про полковника Видякина ходили слухи, что сразу после призыва Гитлера ко всем зарубежным немцам выехать в Германию, он пришел в немецкое посольство, бросил шапку об пол и, не зная немецкого языка, убедил немцев вывезти не только его самого, но и

Мама перекрестилась, сказала: “Бог хранит” и ввела всю свою многочисленную семью в вагон. Никто из нас тифом не заболел. А мама на всю жизнь сохранила чувство благодарности к Владимиру Константиновичу Видякину.

Поселившись в Таллинне, Видякин поначалу брал подряды на строительство мостов, потом перешел в А/О “Ээсти саэвескид”, где работал неким диспетчером между

* РОВС - Русский Обще-Воинский оюз.

его семью. Для него действительно другого выхода не было. Впоследствии, по слухам, сам Владимир Константинович погиб в Позене, а семья его уехала после войны в Бразилию.

Полковник Константин Яковлевич Колзаков с женой фрейлиной двора Их Величеств бежали с одним рюкзаком через южную границу России с целью попасть в Константинополь. Но сумели вынести фрейлинский шифр (шифр — это большая бриллиантовая монограмма обеих императриц, которую их фрейлины носили на плече). На этот шифр Колзаковы прожили первые, самые трудные годы эмиграции. Когда эти деньги подходили к концу, Константин Яковлевич поехал работать на остров Эзель (теперь Сааремаа). Там, на самом берегу моря, стояла скромная деревянная лесопилка, окруженная буквально горами опилок. Колзаков руководил этим заводиком и рубкой леса на острове. Эстония все годы своей самостоятельности усердно сводила леса, пилила их на доски и отправляла пароходами в Англию. Некоторые младшие чины армии Юденича работали в то время в лесах бракерами. Муж и жена Колзаковы были сильные люди. Они не смотрели на свою оторванную от всего мира жизнь на малонаселенном эстонскими хуторянами острове как на драму. Относясь к этому спокойно, они выучили немного эстонский язык (на острове трудно было найти хуторян, мало-мальски понимающих по-русски), наладили свой быт, и этот блестящий, элегантный, тончайшего воспитания светский человек был очень доволен своей тихой, полной трудов жизнью в маленьком уютном домике, стоявшем у самого моря “на семи ветрах”. Я подолгу жила у них в миллом моему сердцу Пидула, бродила по дорогам, огороженным сложенными друг на друга разной величины валунами, любовалась украшающими пейзаж ветряными мельницами, деревянными, стоявшими не на фундаменте, а просто на кучах огромных камней. Но главное, что меня привлекало, это можжевельники, не крохотные кустики, которые попадаются в Прибалтике тут и там, а высоченные деревья, похожие величиной и контуром на южные кипарисы. Их много, они отовсюду кланяются вам на постоянном, редко утихающем ветру. Эти можжевельники увековечил в своих гравюрах удивительно тонкий эстонский художник Гюнтер Рейндорф. За годы, прожитые в этой глуши, Колзаковы скопили кое-какие деньги и незадолго до войны купили себе под Таллинном дом с садом и огородом и пере-

ехали туда. Полковник стал работать в самом Таллинне и даже на одном со мной предприятии. Я была счастлива, потому что Константин Яковлевич был одним из самых дорогих мне людей.

Капитан Федор Антонович Гизетти в бытность свою в Эстонии был еще молод, хорош собой, жизнерадостен, обаятелен. Помимо работы (он был мастером на одной из таллиннских фабрик) широко занимался общественной деятельностью. Он создал организацию для молодежи под названием "Витязь". Я там никогда не бывала, но говорили, что она сильно политизирована. Кроме того, Гизетти участвовал в эстонском "Kaitseliit`e" — это что-то вроде союза защиты или союза обороны. Подозреваю, что связан он был и с таллиннским РОВС`ом. Но это только мои домыслы. Вслух об этой организации не говорили.

Пришел 1939 год. В Эстонии появились советские военные базы. Началась вторая мировая война. В октябре Гитлер призвал всех немцев, живущих вне Германии, выехать на свою родину. Нельзя сказать, что прибалтийские немцы были привержены Гитлеру. Наоборот. Но тем не менее его призыв они восприняли как призыв своей страны и буквально все, не обдумывая, между собой не совещаясь и не сговариваясь, в тот же день приняли решение, менявшее всю их судьбу. Приняли как неизбежность.

На следующее же утро мой директор Оскар Брунович Фитингоф вошел в контору обычным твердым шагом, только был он бледен и очень озабочен. И тут оказалось, что так же, как и директор, уезжает наш бухгалтер - онемечившийся эстонец, уезжает немец-начальник лесного отдела и даже посыльный мальчик. Все они побыли на работе, и то урывками, всего несколько дней, а там уже целиком предались заботам по переезду. Оформляли документы на отъезд, на оставляемое недвижимое имущество; из движимого, что могли - продавали, решали - что брать с собой, что раздаривать, что просто бросать. Запомнилось, как один мой приятель - бывший младший чин белой армии, подарил, уезжая, своей хозяйке квартиры портрет Николая II во весь рост.

Дольше других появлялся в конторе барон Фитингоф. Ему было труднее многих. Русский морской офицер, человек русской культуры, русского образа мыслей, русских привычек, наконец, он все это отрывал по живому. Найдя себе заместителя, он тоже стал появляться реже, а

потом пришел уже только прощаться. Правда, звонил и беспокоился о нас до последнего дня. Остальные же, да и вообще многие, пропадали сразу, не оборачиваясь. Считали, наверно, что так легче.

А мы из оставшихся (контора наша была небольшая) продолжали работать и вводить в курс дел новых служащих. Но и у нас не было чувства уверенности, что это надолго, и ощущали мы себя, как говорится, на юру.

Лично у меня уезжало много друзей и просто знакомых, и каждое расставание приносило боль. Немцев в Таллинне было много, и город в короткий срок заметно изменил свое лицо. Очень многие русские, как и полковник Видякин, правдами или неправдами, пытались примкнуть к местным немцам и уехать с ними.

Помню, как К.Я.Колзаков и Ф.А.Гизетти в начале октября 1939 года пришли к нам, чтобы обсудить с отцом положение дел. Для всех троих было ясно, что ни в какую Германию они не поедут. Хотелось просто услышать друг от друга подтверждение своим мыслям и решениям. Помню, как оба наших гостя с одинаковой надеждой говорили о том, что их знания и опыт в военном деле еще пригодятся России в схватке с фашизмом. Что такая схватка для России близка, никто не сомневался. Хотелось верить, что война смет большевизм. А сейчас перед лицом страшной опасности для Родины как-то отступали на задний план все политические убеждения. Но работникам НКВД все это было недоступно. Оба они — и К.Я.Колзаков и Ф.А.Гизетти были уже в 1940 году арестованы. Федора Антоновича расстреляли в марте 1941 года в Ленинграде, а Константина Яковлевича отвезли в Ленинградскую тюрьму, где он и умер якобы своей смертью. Уже во время немецкой оккупации Эстонии в 1943 году я получила из Германии от генерала А.О.Штубендорфа письмо, где он писал, что имел с Константином Яковлевичем в ленинградской тюрьме очную ставку, на которой Колзаков вел себя с необычайным достоинством. Что ж, другого нельзя было и ожидать.

Генерал Алексей Оттонович Штубендорф жил в Таллинне с семьей своего покойного брата. Уже в эмиграции невестка его получила неожиданное наследство, и жили они безбедно, притом что никто из них не работал. Племянник генерала, Юрий Анатольевич, женился на местной немке Ильзе Винклер. Была она неприветлива

и молчалива, но какой характер, какая преданность открылись в ней впоследствии. Муж ее и свекровь умерли еще до всех событий. К приходу Советской власти генерал и Ильзе приготовили все документы для выезда в Германию, но не успели уехать. Генерал А.О.Штубендорф, несмотря на более чем пожилой возраст, был арестован и вывезен в Ленинград, кажется, на Шпалерную. Судьба его была, естественно, предрешена. И тут на передний план выходит фигура Ильзе Винклер. Она после ареста генерала успела уехать вместе с сыном в Германию, и там эта раздражительная, нелюдимая и, казалось, никого не любившая женщина своей энергией и упорством добилась неслыханного. НКВД под давлением немцев (это было еще до нападения фашистов на СССР) выпустило генерала из тюрьмы и препроводило его в Германию.

В Ревеле с незапамятных времен на улице Лай (Широкая) под вековыми липами у дома Хюне была остановка такси. Интересная была остановка. Место тихое, улица с булыжной мостовой, избегаемая транспортом. Стояло на ней всего три такси. Среди них старая-престарая машина графа Бенигсена. Высокий, необычайно худой, с породистым лицом он казался нам, молодежи, большим оригиналом. В 1930-е годы, в отличие от первых послевоенных лет, редко кто так одевался. Иным я его никогда не видела. Ходил он в кожаном шлеме, в сильно поношенной кожаной куртке, в офицерских галифе и крагах. Краги — это жесткие, гладкие накладные высокие голенища. Самую простую и грубую солдатскую обувь они превращают в высокие сапоги. Как-то моей родственнице, державшей круглогодичный пансион в красивой местности Клоога, недалеко от Таллинна, позвонил знакомый эстонский предприниматель и сказал, что приедет к ней с графом Бенигсеном дня на три отдохнуть.

Тетка долго ломала голову — как устроить гостей, исходя из какой таблицы о рангах? То ли отдать лучшую комнату графу, то ли эстонскому гостю, а ведь будет еще и шофер, куда деть его? С их приездом вопрос решился сам собой.

Дальнейшая судьба графа мне не известна. Сейчас таллиннские жители, но не свидетели тех времен, говорят, что он был арестован. Мы с ним не были знакомы, и я этого не помню.

Работал на этой стоянке и совсем молодой еще, но тоже успешный побывать в белой армии Георгий Юцевич. Вспоминается один

эпизод из его жизни, характерный для молодежи тех времен. Жил он очень небогато, но вдруг пришло ему в голову брать уроки не то английского, не то французского языка у моей мамы. Проучился он несколько месяцев. За какое-то довольно большое количество уроков задолжал и пропал с маминого горизонта. Прошел год, а может быть, и больше. Мама продолжала твердо верить, что Юцевич ее не обманет, папа посмеивался. Тогда я уже работала как раз напротив этой стоянки. Как-то вечером выхожу из конторы, и вдруг подкатывает к подъезду на своем такси Юцевич и предлагает меня подвезти. Едем. По дороге он останавливается у цветочного магазина и выходит из него с цветами. То же повторяется у лучшей таллиннской кондитерской Фейшнера. Оттуда он выходит с тортом. У моего дома он вежливо просит разрешения зайти к нам. Помню счастливое лицо мамы, когда она открыла нам дверь. Ее не так обрадовали деньги и подношения, как то, что еще раз укрепились ее вера в порядочность и честность людей.

При массовом переезде немцев в Германию Юцевич сумел склонить немецкое консульство взять его с собой, хотя у него и не было к этому никаких оснований. Зато были основания — и, надо думать, серьезные — к тому, чтобы не встречаться с органами НКВД.

А вот третьего шофера из этой компании, Михаила Яковлевича Мигунова, постигла другая участь. Был он, наверное, из солдат, выслужившихся до самого младшего чина. Это мои домыслы. Точно не знаю. Он был могучего роста, красивый плотный блондин с веселыми глазами. Жили они вдвоем с женой сравнительно безбедно. Он тоже пытался прорваться в Германию, да должно быть поздно спохватился. Он, наверное, состоял в РОВС`е. Во всяком случае, с приходом советской армии земля под ним начала гореть. Объяснил немцам свое положение. Вывести его они уже не могли. Но сделали его личным шофером некоего Воларта. Не помню уже его должности в посольстве. Скорее всего, он был послом или консулом. Работая в его машине, Мигунов обретал желанную неприкосновенность, хотя и ходил по острию ножа. Но был он очень храбр и сказочно силен. Жил он в посольстве. Как-то должен был встретить шефа, приезжавшего из Риги утренним поездом. Будучи очень аккуратным и исполнительным, приехал к вокзалу заранее. Ему было рекомендовано начальством из машины никогда не выходить и все двери де-

ржать на запоре. В этот раз он свою дверь не закрыл. Когда поезд уже подходил, к машине подбежало несколько молодцев, с необычайной быстротой и ловкостью вытащили они этого богатыря из автомобиля, и больше его никто не видел. Все это я уже через много лет услышала из уст его вдовы, проживавшей и дальше в Таллинне.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Семья Колзаковых

Судьба семьи погибшего в ленинградской тюрьме К.Я.Колзакова настолько необычна, что просто необходимо о ней рассказать. Жена К.Я.Колзакова, Софья Владимировна, урожденная Дедюлина, была дочерью генерала (точного чина не помню) Владимира Александровича Дедюлина. Он был комендантом Зимнего дворца, начальником охраны Государя, личным другом его и всей царской семьи. Летом 1913 года Николай II поехал отдыхать в Ливадию. Дедюлин, естественно, его сопровождал, взяв с собой и свою жену Елизавету Сергеевну. Она поселилась в Ялте, а Владимир Александрович в Ливадии. Как-то утром царю захотелось подняться с Дедюлиным на вершину Ай-Петри. Генерал был значительно старше царя. После возвращения с прогулки царь отдыхал, а Владимиру Александровичу надо было многое что сделать. Вечером в Ливадии должен был состояться бал. Государь на балу был весел, шутил, а под самый конец попросил генерала: “Владимир Александрович, дорогой, не в службу, а в дружбу — спляшите для меня русскую. Это у Вас так замечательно получается!” Отказывать Государю не положено. Генерал сплясал. После бала он отправил жену в карете в Ялту, а сам, как всегда, остался во дворце. Через некоторое время та же карета вернулась за Елизаветой Сергеевной. Ее вызвали во дворец, где генералу стало плохо. Когда она приехала, у постели умирающего Владимира Александровича стоял царь и неотрывно на него смотрел. Он так и не отступил ни на шаг до самой смерти генерала, и бедная генеральша не смогла в последний раз поцеловать своего мужа. Она прожила еще долго, так и не простив этого Государю. А умерла она “не в постели при нотариусе и враче”, а в страшной сибирской ссылке, куда ее вместе с дочерью сослали как родственни-

цу полковника К.Я. Колзакова. Софья Владимировна пробыла в ссылке 16 лет. Тут настало время рассказать о единственном сыне Колзаковых Владимире Константиновиче.

Его жизнь сложилась трудно с самого детства. Поняв после революции, что мужу ее надо бежать из России, Софья Владимировна, преданнейшая жена, до последнего дня прямо молившаяся на своего мужа, не могла его, конечно, отпустить одного. Она решила оставить своего семилетнего сына в Петербурге у сестры, а сама поехала с мужем на юг, чтобы там перейти границу. Попав после многих перипетий в Эстонию, Колзакова сразу стала хлопотать, чтобы ей переслали сына. хлопоты длились долго, и наконец ей сообщили, что сын прибудет с таким-то поездом. Представить трудно ее ужас, когда к ней на вокзале подвели не Володю, а чужого мальчика. Произошла ошибка. И снова просьбы, заявления, ожидания. В результате Володя приехал. Не все гладко проходило у него и дальше. Он жил сначала в Таллинне, потом в Париже, потом на острове Сааремаа и снова в Таллинне. Надо сказать, что у него всю жизнь была мечта стать кадровым военным. Мечта по тем временам неосуществимая. Я не знаю, почему с началом войны он не был мобилизован, знаю только, что жил он уже отдельно от родителей и благодаря этому избежал ссылки, или, еще хуже, ареста. Знаю, что когда советские войска в августе 1941 года покидали Таллинн, Владимир Колзаков уходил с ними. Дальше началась его головокружительная военная карьера.

Он блестяще знал французский, знал и немецкий. Его взяли в армию переводчиком. Как он попал в штаб Жукова, я не помню. Но в Германии к концу войны он был уже в чине капитана, и Жуков, помимо прочих дел, использовал его в качестве консультанта в вопросах светского поведения и этикета. Помню рассказ Колзакова-младшего, как он объяснял готовящемуся к торжественному параду Жукову, когда и в каких случаях надо надевать желтые перчатки, а когда белые; когда можно появляться в высоких сапогах, а когда в парадных брюках. Рассказывал Володя и страшную историю, как на большом приеме во время обеда один из пожилых советских офицеров спросил его через весь стол: “Капитан Колзаков, а не приходите ли Вы родственником полковнику царской армии Колзакову?” На что Володя, глядя прямо в глаза вопрошающему, ответил: “Никак нет”.

Жизнь шла дальше, а тем временем энергичной, даже неумолимой Софье Владимировне в далекой Сибири пришла в голову “блестящая” мысль, и она, не откладывая дела, написала маршалу Ворошилову письмо, что, мол, так и так, где же наша справедливость. Мой сын работает в штабе Жукова, а меня, его мать, держат уже много лет в ссылке. Прошу дать мне возможность и т.д. Возможности ей не дали, а Владимира Константиновича демобилизовали без объяснения причин. Правда, никаких репрессий в отношении него не последовало. Должно быть, Жуков защитил.

А Софья Владимировна только в 1957 году вернулась в Таллинн, где я ее нашла на ролях прислуги, моющей пол в квартире своих эстонских хозяев. Она ничуть не смутилась от того, что я ее застала за таким занятием. Жизнь ее многому научила. Была прежней, бодрой, даже задорной, неунывающей. Вскоре она устроилась книгоношей, а потом ее направили работать в книжном киоске в роскошном Доме политпросвещения. Здесь она, по природе очень трудолюбивая и добросовестная, завоевала общую любовь и уважение. На 80-летие ей был устроен богатый банкет с типографским способом напечатанными приглашениями. На этом банкете она, в 80 лет, танцевала мазурку. Через некоторое время Софья Владимировна стала слепнуть, но и при этом продолжала работать, невзирая на возраст. Только просила своих клиентов самим посмотреть цену книги, а расплачиваясь, самим отсчитать себе сдачу. За все время ни один человек ее не обманул. Она тихо и безболезненно умерла в Таллинне, не дожив двух месяцев до ста лет.

Семья Гизетти

О Федоре Антоновиче Гизетти и его трагической гибели я уже рассказывала. Женат он был на замечательной женщине — Елене Александровне Ридигер. Ридигеры происходят из потомственных дворян-петербуржцев. Мужчины их рода по традиции учились в привилегированном учебном заведении Правоведения. В Правоведении же учился и брат Елены Александровны — Михаил Александрович Ридигер — отец патриарха всея Руси Алексия II, сам будущий священник, настоятель таллиннской Казанской церкви.

У Гизетти было двое сыновей и дочь. О таких детях можно только мечтать. И кто мог думать, что ждет их впереди. Оба сына с начала войны были мобилизованы в Красную Армию. Старший — Дмитрий — попал в плен и волею судеб оказался в Америке, где стал священником. Младший, Анатолий, пропал в войну без вести. А болевшая туберкулезом, слабая, неприспособленная к жизни Елена Александровна осталась с маленькой дочерью на руках. Она не только вырастила свою дочку, но еще взяла в семью мальчишка-сироту из числа привезенных немцами из России бездомных детей. На долгие годы Елена Александровна приютила и согрела любовью и заботой невесту своего погибшего сына — Таню Семухину. Таня буквально за несколько месяцев потеряла отца, мать и жениха. Отец ее, врач Николай Васильевич Семухин был артистом Таллиннского



Елена Александровна Гизетти (урожд. Ридигер)
с дочкой Аленушкой. 1940 г.

русского театра и играл под псевдонимом Устюжанинов. Театр финансово никак не мог обеспечить свою труппу. Все артисты попутно работали на стороне. Н.В.Семухин был массажистом главы государства Константина Пятса. Он был арестован органами НКВД и

вывезен в Советский Союз. Мать Тани, писаная красавица, балерина Т.А. Истомина вторым браком вышла замуж за датчанина Клаусена, и вместе с ним ее также вывезли в Советский Союз. Таня впоследствии ездила к отцу. Он жил к тому времени на своей родине в Устюге Великом (отсюда и псевдоним Устюжанинов). Ездила она и к матери, которая через много лет попала на родину своего погибшего в ссылке мужа и жила постоянно в Дании. Как разметало людей по всему свету!

В страшные для всех русских годы немецкой оккупации дом Е.А. Гизетти был пристанищем для очень многих людей, нуждавшихся в

поддержке, утешении, просто в ласковом, добром слове, наконец, в теплой, дружной семейной атмосфере. Елена Александровна при свете коптилки пишет очередную свою икону, одновременно уча всем премудростям этого труднейшего искусства и Таню. Всегда ласковая, отзывчивая на чужое горе, уже старенькая бабушка, Аглаида Юльевна Ридигер хлопочет по хозяйству. Сидя за общим столом пытается тоже что-то рисовать маленькая Аленушка — девочка из сказки. Две торчащие в стороны светлые косички, большие задорные зеленые глаза, курносый носик. Всегда чем-то занятая, всегда веселая, не знающая капризов девчушка. Аленушка — очень поздний ребенок. Теперь это ясно — она была послана Богом в утешение. Именно она и, конечно, вера спасли от безысходного отчаяния Елену Александровну и бабушку. Несмотря на свое собственное горе эта семья была душевной опорой тех, кто все долгие годы оккупации грелись у их огня.

Семья Немировичей-Данченко

Очень колоритной и очень заметной фигурой в Таллинне была Ольга Иосифовна Немирович-Данченко. Муж ее Василий Владимирович — двоюродный племянник знаменитых Немировичей, инженер путей сообщения, будучи еще молодым, одним из первых одолел в какой-то мере почти недоступные трудности эстонского языка и как крупный специалист попал в министерство (единственное исключение из всех русских), где и проработал при всех режимах до самой пенсии. Он был молчаливый труженик. Голоса его никогда не было слышно, да и негде особенно было его и слышать. Он брал еще работу на дом и вечерами сидел, запершись в своем кабинете. Выходил, как чеховский Дымов, пригласить гостей к столу и скоро снова удалялся. Жена его умудрялась присутствовать одновременно в самых противоположных точках города. Она была первым директором Казанской школы, затем открыла русский торгово-бухгалтерский техникум, занималась благотворительностью, не пропускала ни одной службы в церкви. Была выдающейся преподавательницей математики и вообще добрейшей женщиной, внимательной к каждой козявке-школьнице младшего класса.

Она была некрасива, совершенно не следила за своей наружно-

стью. Я знала ее два десятка лет, но в основном помню в одном и том же лиловом платье с парчовой вставочкой на груди. Мысль о косметике ей не приходила в голову, волосы пышные, но непослу-



Ольга Иосифовна Немирович-Данченко. 1929 г.

шные, висели прядями из-под шляпки. К сапожнику она редко заглядывала. Но при всем при том ее сияющий взгляд, ее добрые, по-настоящему добрые дела, о которых она тут же забывала, ее забота о всех и каждом делали ее необходимым слагаемым русской жизни Таллинна.

В четвертом классе начальной школы я была на занятиях в общей сложности меньше 4-х месяцев. Болела тяжело, так что дома заниматься мне было не под силу. Весной Ольга Иосифовна без всякого маминого зова пришла к нам домой и просидела у моей кровати несколько часов. В это время она шутя, снова отходя от этой линии и снова весело к ней возвращаясь, проэкзаменовала меня по математике; то, что я не знала и не могла знать, кратко, но четко объяснила, дала какие-то отправные точки и, уходя, успокоила нас с мамой, что на второй год меня не оставят, а мы этого уже начали бояться.

Вселив в нас бодрость, ушла, неся в своей умной голове и чутком сердце уже новую заботу о новом человеке.

У Немировичей было двое детей. Очень талантливы были оба. Мальчик, окончив гимназию, умер от менингита, а Елена Васильевна прожила достойнейшую жизнь. Она окончила две консерватории — Таллиннскую и Ленинградскую. С приходом советской власти долго не находила себе применения, мотаясь по каким-то кружкам самодеятельности, ухитряясь отдавать им всю свою душу, а потом

устроилась на Эстонское радио музыкальным редактором — и тут она расцвела. Она оформляла музыкой русские передачи и сама постоянно вела цикл очерков о музыке. Эстонцы на редкость музыкальный народ, и поле деятельности у нее было большое. Она ухитрялась каждую передачу сделать интересной и особенной. Овдовев после очень позднего и очень счастливого, но короткого брака, она воспитывала сына, из которого сделала порядочного и интеллигентного человека, а согласитесь, одинокой, работающей женщине это нелегко. В жизни она была очень неприхотлива и нетребовательна, не обращала на себя никакого внимания, а все силы отдавала тем, кого любила, и тому, что любила.

Умерла она как-то обидно случайно. Вечером при работе на радио в аппаратной ей стало плохо — она упала без сознания и сразу пришла в себя. Оператор предлагала ей вызвать скорую помощь, принести лекарство. Елена Васильевна твердо стояла на своем. Ничего не надо. Надо работать дальше. Закончив работу, она ушла, и



Елена Васильевна Немирович-Данченко.
1968 г.

живой ее больше никто не видел. Ее нашли у самых ворот городской больницы. Значит, она понимала, что ей очень плохо, но по привычке не обращать на себя внимания и не желая никого беспокоить своей персоной, пошла в больницу зачем-то пешком, даже не вызвав такси.

Булатовы

Совсем из другого круга была семья Булатовых. Алексей Алексеевич Булатов был в начале 1920-х годов выслан из России в группе профессоров и общественных деятелей, неугодных Ленину. Профессора проследовали в Берлин и Париж, Алексей Алексеевич остановился в Эстонии. Не с руки ему было ехать в дальнее зарубежье. Он был человеком другого стиля и очень хорошо вписался в жизнь русского меньшинства в Эстонии. Сначала семья его жила в Печерах, потом переехали они под Ревель, в Нымме, где Алексей Алексеевич открыл частную русскую библиотеку, на это и жил. Занимался в крупных масштабах общественной деятельностью. В числе других основал по всей Эстонии целую сеть русских просветительских обществ. Был он очень колоритной фигурой. Плотный, с широко развернутыми плечами, с белой гривой волос на очень красивой голове, с густой белой бородой — он всем своим обликом, а больше всего взглядом внимательных, требовательных, я бы сказала, обличающих глаз напоминал Моисея. Его уважали и немного побаивались. Жена его, Варвара Константиновна, была великой терпеливицей, так как ей постоянно приходилось принимать гостей своих троих детей. Не помню сейчас, чем тогда занималась их старшая дочь Аня. Высокая, как и мать, с иконописным лицом, она была тиха и голос ее мы редко слышали. Мы — это молодежь, друзья и подруги младшей дочери Веры. Тоже красивой, но уж очень мрачной, всегда почему-то страдавшей и из всего умевшей создать трагедию — даже из самой счастливой любви. Очень удался их брат Алексей — несколько тяжеловатый красавец, спортсмен, артист местного театра; при всем при этом он обладал еще чарующим баритоном и очень любил петь. Его только заведи, и песня за песней, романс за романсом звучали в большой булатовской квартире иногда до рассвета. Родители нам доверяли и ничему не противились.

У Алексея была маленькая токарная мастерская, где он усердно до позднего вечера стоял у станка, весь пол в опилках и даже в волосах опилки. А потом бежал на репетицию в театр, или на тренировку, или домой — петь в нашей компании, которая вся поголовно была моложе его.

Вспоминается мне, как регент Русского Студенческого Христианского Движения (а надо сказать, что Булатовы просто по своей идеологии не имели к Движению никакого отношения), так вот, регент Нина Аникиевна Мигуева пригласила Булатова-старшего послушать в ее сольном исполнении всю оперу “Сказание о граде Китеже”, которая не шла в театре “Эстония”. В помещении было не топлено. Сколько помнится, других слушателей, кроме нас двоих, не было. Булатов сначала сидел на скамье. Потом лег на нее и покрылся своей овчинной шубой. Так и пролежал, слушая всю длинную оперу, не шелохнувшись, упорно глядя в потолок.

Когда библиотека стала хиреть, Алексей Алексеевич открыл букинистическую лавку на улице Пикк, недалеко от моей работы. Я каждый день, возвращаясь из банка, поднималась к нему по четырем ступенькам вверх в тесно заставленный книгами магазинчик. В эти годы мы с ним очень подружились, и когда летом 1940 года сын его, приехав к нам на дачу, где он со своей командой играл частенько в волейбол, сказал мне, что Алексей Алексеевич арестован, для меня это было личным горем. Говорят, чудес не бывает, но тут случилось маленькое, совсем коротенькое чудо. Как-то, может быть через месяц, приехал Алексей и со счастливым лицом закружил меня по лугу.

— Папу выпустили!

Но скоро его снова арестовали и теперь уже безвозвратно. А Алексей эвакуировался вместе с семьей в Сибирь, где и прожил всю свою жизнь. А теперь мне хочется рассказать о бывшей невесте Алексея. Он долгие годы был обручен с одной из сестер Кнац. Муся, Ляля и Катя Кнац — знакомое для всех русских таллиннцев сочетание имен. Ляля играла вместе с младшим Булатовым в театре. Я не знаю, почему их помолвка носила такой тоскливо-затяжной характер. Во время войны Ляля взяла себе двух детей из тех сирот, что были привезены из России. Когда война подходила к концу и немцы, а с ними некоторые русские и эстонцы устремились в Германию, сестры Кнац тоже решили податься на Запад. Последние су-

да уходили уже со страшным риском. На одном из этих судов оказались Муся, Катя и Ляля с детьми. Началась бомбежка. Все сестры стояли в этот момент на палубе. Надо было спускаться в шлюпки. Но Ляля, вопреки просьбам сестер, бросилась в каюту за детьми. А снизу шел встречный поток бегущих наверх; ей было не пробиться. Она просила, кричала и чуть-чуть продвигалась дальше, но слишком медленно, и погибла вместе со своими детьми. Ляля Кнац.

Кашневы

Семья Кашневых — это все самое теплое и доброе, что я видела в своем детстве, конечно, не считая моей родной семьи. Борис Васильевич Кашнев был инженером путей сообщения. Он строил мосты. Работа была всегда случайной, от контракта к контракту. Бывало, что моя подружка Аля на перемене в школе покупала пирожные, а иногда всей семье приходилось очень туго. В годы нашего детства Борис Васильевич был еще молод, а мне он всегда казался пожилым. Может быть, из-за бородки, может быть, из-за того, что он слегка прихрамывал, а может быть, потому что я всегда его видела в черные дни, когда один мост отстроен, а о другом еще и не слышно. Как правило, я его видела только дома, сидящим в глубоком кресле и потягивающим крепкий чай. Еще помню, как Борис Васильевич идет со станции по лесу (это уже летом); в одной руке у него портфель, а в другой — сетка с кулками для нас, детей. В кулках конфеты. Вижу его сияющие ярко-ярко-синие глаза, радующиеся концу недели, тому, что мы его встречаем, и тому, что может нас порадовать подарком.

Борис Васильевич старался каждый год отправить семью на дачу, а мы, Киршбаумы, сидевшие к тому времени на безнадежной мели, проводили лето в городе. Вот тут-то строгая, малоулыбчивая, но бесконечно заботливая Евгения Павловна брала меня к себе. Ее младшая дочь Аля была моей самой близкой подругой и осталась ею до сегодняшнего дня.

Я не буду описывать всех трагических перипетий, выпавших на долю их семьи. Все это талантливо описано старшей дочерью Кашневых, Татьяной Борисовной, в книге “Земная коротка наша память” (Таллинн, издательство “Александра”, 1993 год.)

Мне хотелось бы, если только удастся, рассказать о климате, воздухе этого дома и всего несколькими словами упомянуть о некоторых из тех людей, которые тоже создавали этот климат. Прежде всего о старшей дочери Татьяне Борисовне. Для нас с Алей она уже взрослая, и мы живем с ней в разных мирах. Я смотрю на нее снизу вверх, и это чувство сохранилось, как ни странно, до сих пор. Она необычайно умна, необычайно красива. У нее удивительная фигура, красивые руки, красивый голос. Я помню ее в роли Снежной Королевы в сказке для детей на одном из маминых спектаклей. Чарующий взгляд огромных холодных глаз, точеный профиль, легкость даже не походки, а лёгкость полета, казалось, вот сейчас, сейчас она улетит от нас в свою ледяную прекрасную даль...

Фред. Жених, а потом и муж Тани. Человек для нас с Алей таинственный. Они сидят с Таней, закрывшись в ее комнате, и громко читают по-немецки какие-то философские книги. Потом он раскланивается и уходит. Он как-то загадочно хорош собой. Породистое, очень красивое лицо, удивительный разлет бровей... И какая-то отчужденность. Неприсутствие. Его облик очень хорошо совпадает с моим представлением о Тане. Вот сейчас он посадит ее на своего крылатого коня, и умчатся они в снежные вихри и ледяную стынь... Они женятся, и я присутствую на свадьбе и люблюсь на профиль Тани и вообще на эту удивительно красивую пару. Они поселятся недалеко от Кашневых, тоже в Екатеринентале. Но не задается их совместная жизнь, и брак расстраивается. Таня некоторое время живет дома, потом уезжает на несколько лет во Францию.

В доме образуется какая-то пустота. Еще тише и молчаливее делается и так немногословная Евгения Павловна. У нее холодное лицо камен и всегда полуприкрытые глаза. Несмотря на этот облик мы, девочки, ее ничуть не боимся и осмеливаемся вслед за Борисом Васильевичем ее даже слегка поддразнивать. Она только с тихой улыбкой отмахивается от нас, как от мух, и продолжает заниматься своим делом. Вот она крутит на кухне провансаль для очередного скромного, но всегда такого вкусного ужина. Борис Васильевич перекидывается от времени до времени остроумными замечаниями с сидящим напротив него в таком же высоком кресле и с тем же черным совершенно чаем Эней Бенаром. Эня гораздо старше нас, старше даже Тани. Какими-то очень цепкими корнями он врос в эту семью и сидит в этом

кресле каждый день. С Эней можно молчать, можно шутить, можно спросить о самом дорогом, и он ответит. Эня очень хороший художник, он архитектор, он отлично поет и любит петь. Он знает философию, историю искусств, да все он знает, наш Эня. Но он болен туберкулезом безнадежно и знает, что он обречен.

Когда Кашневых в 1941 году вывезли в Советский Союз, а в Таллинн пришли немцы, Эня в первые месяцы стал приходить к нам. Всегда в один и тот же час после обеда. Сидел, пил свой крепкий чай, перекидывался несколькими фразами с папой, и уходил, с трудом держась на ногах, исхудавший до синевы, терявший голос. Вскоре его отвезли в больницу. Он прислал свою маму с просьбой, чтобы я пришла к нему. В тот день я почему-то не могла. А он умер. И эта одна из тех заноз в сердце, которую никогда не вырвешь. Почему же я все-таки не побежала в тот же день? Как я смела не побежать не то что по первому зову, а до первого зова?

Женя Золотов. Милый в моем детском представлении “квадратный” Женя. Просто у него очень широкие плечи, у красивого Жени. Умный, воспитанный, хорошо работающий и хорошо зарабатывающий — мне он кажется таким отличным женихом. А Таня, несмотря на всю его к ней любовь, выходит замуж за Фреда. Как плакал Женя на моем плече, а плечо-то 12-летнее, когда вез меня в такси домой после свадьбы Тани и Фреда. Но преданная, самоотверженная, постоянная, все вытерпевшая любовь восторжествовала. Таня с Женей поженились и прожили большую жизнь, полную бед, разлук и любви.

Самое трудное, наверное, сказать что-нибудь о Елене Борисовне — Але. Мы дружили с нею с младенчества. Часто ссорились, но неизменно мирились. Меня сопровождала по жизни Алина доброта. Она не сердилась на меня даже тогда, когда следовало сердиться. Все у нас было одинаково, она так же была привязана к моим родителям, мой отец так же дразнил ее, как Борис Васильевич меня.

В июне 1941 года я получила с работы путевку в дом отдыха в Отепя, что под Тарту. Неожиданно 14 числа пришла телеграмма: “Немедленно возвращайся Сережа”. Это начались вывозы тысяч и тысяч ни в чем неповинных людей на Восток. Но тогда я не подозревала о причине беспокойства моего младшего брата. И вот я еду пассажирским поездом в Таллинн и только несколько удивляюсь,

ничего еще не понимая, почему это такое количество товарных составов идет и идет навстречу. А на какой-то станции наш поезд останавливается. Рядом на путях в составе длинного поезда стоит товарный вагон, маленькое, высоко расположенное окошко которого открыто, и я оказываюсь лицом к лицу с Алей, распухшей от слез Алей. И она торопливо поясняет мне происходящее — что идут массовые вывозы, что внизу на полу Евгения Павловна греет на примусе молоко для Таниных маленьких детей, что Женя где-то в другом вагоне. Женя не был в другом вагоне. Всех мужчин отправили в другом направлении. А семью увозят в Кировскую область — Алю в совхоз, а Таню с бабушкой и детьми — в колхоз. Алю ставят возчиком к лошадям. Она возит дрова из леса, засыпанные снегом скирды с полей, вытягивает своими консерваторскими руками сани из сугробов. Попадает в полынью, болеет почками, потом тифом. А там они каким-то чудом соединяются и живут уже все вместе. Бабушка, ее две дочери и двое Таниных детей. Это длится годы. Аля первая возвращается из ссылки после взятия Таллинна, получив вызов из газеты, где она работала. Устраивается машинисткой в той же газете. Выходит замуж за ленинградского певца Игоря Позднякова. Он болен туберкулезом и петь больше не может, дает уроки. У них растет дочка. Аля разрывается между работой, дочкой и больным мужем.

А Женя в лагере тоже заболевает и приезжает, вернее, почти приползает к семье в ссылку только по окончании своего пятилетнего срока в 1946 году. Приезжает с туберкулезом легких и горла. Неимоверным и постоянным усилием воли, он, понимая, что ему надо жить для семьи, понемногу с годами выздоравливает. Семья возвращается в Эстонию. В 1947 году Женю, как бывшего заключенного, направляют в Тарту. У него нет права жить в столице.

Наступает 1950 год. И тут, когда Алина дочка Леночка лежит тяжело больная в больнице и Аля по очереди с бабушкой дежурят у ее постели, их с Таней увозят в повторную ссылку. Але обещают, что бабушка останется с ребенком. Но ночью к ним в камеру вводят и Евгению Павловну. Чего стоят обещания чекистов? Их увозят в ту же Кировскую область, туда же к ним приезжает вместе с детьми и Женя, теряя при этом право на полученный было паспорт свободного гражданина. Через полтора года Алин муж привозит ей



Елена Борисовна Кашнева (в замужестве - Позднякова).

Леночку, а сам, тяжело больной, уезжает снова в Таллинн. Здесь, в Кировской области, Аля проживет до 1956 года, а Женя с семьей — до 57. Это так легко написать, а прожить?

После вторичного возвращения в Таллинн Але не делается легче. Она ухаживает за умирающим мужем и поднимает на ноги все еще не оправившуюся от болезни дочку. Она борется за свой, наконец-то дом, за покойную старость так любимой всеми ими бабушки. Аля добивается всего. Она приобретает специальность, дающую ей возможность создать своей семье обеспеченную жизнь, дать Леночке образование, наконец расслабить всем троим столько лет натянутые нервы. Она заботится о всех родных, о своих племянниках, а потом и о их детях, о всех друзьях и знакомых.

Аля обладает способностью все понять, даже в самой безысходной ситуации найти верный, иногда очень трудный выход и настойчиво, снова и снова призывать к его осуществлению. И в моей судьбе она не раз играла такую роль.



Штакельберги

В почти загородном районе Риги, где я живу, нынче на удивление красивая зима. Дом окружают деревья, и в снежную погоду это выглядит сказочно. Подушки снега на ветках сосен, покрытые инеем березы, белый, сверкающий, не тронутый городской чернотой снег повсюду, куда ни взглянешь, и широкое голубое небо над всей этой прелестью. Всю жизнь жалею, что опоздала с появлением на свет

лет на сто. Жить бы круглый год в загородном доме. Ездить на дачу, это, конечно, отлично, но совсем не то. В детстве я два лета жила в семье обрусевших прибалтийских баронов Штакельбергов. От большого имения в нескольких десятках километров от Таллинна им оставили дом с садом, парком и огородами. Сколько в доме было комнат? Много. Помню, что по пятницам мы с подружкой моей, Люсей, младшей дочерью баронов, должны были во всем доме менять цветы в 45 вазах. Это занимало целый день. Тогда ведь букеты были не те, что сейчас — два цветка и травинка. То были настоящие букеты, которые все надо было продумать, чтобы они подходили к обоям и стилю комнаты. Собирали цветы и на лугах, и в лесу, и в саду. Надо признаться, что иногда мы шли по линии наименьшего сопротивления и, предвосхищая нынешнюю моду, ставили в вазочку одну-две цветущие ветки какого-нибудь дерева или к молодому, еще с завитушкой наверху, листику папоротника добавляли всего несколько золотых купавок. Только они от этого сочетания скоро увядали, и наша леность оборачивалась лишней работой среди недели.

Я любила их дом, утреннюю мою свободу — Люся играла 3 часа в день на рояле, — чьи-то романы, чьи-то слезы (там всегда было много молодежи), вечернюю игру в лапту, а после ужина, уже при свечах, пение под рояль старшей дочери Штакельбергов Муры. Голос у Муры был сильный, низкий, и пела она как-то особенно проникновенно. Была тогда безнадежно влюблена в моего старшего брата.

Мать этих девушек, Татьяна Владимировна, будучи очень религиозной, была привержена всем церковным обрядам. В доме стояли киоты с иконами, теплились лампадки, у которых хлопотала прямо из литературы взятая типичная русская няня. Никто не знал ее имени; все ее так и звали — няня.

Баронесса, очень отзывчивая и добрая, организовала в Таллинне отряд скаутов. Хотелось ей пригреть часто неприкаянных детей. Скауты собирались в их большой городской квартире. Шли строем в церковь, занимались спортом, ходили в походы. У всех была скаутская форма защитного цвета. Как-то они обтесывались и из неуклюжих увальней делались подтянутыми, знающими, как встать и как сесть, молодыми людьми.

Любила баронесса устраивать у себя приемы. Иногда по поводу

приезда какой-нибудь звезды, иногда и без повода. Стол бывал сервирован по самым высоким требованиям. Серебро, хрусталь, яркие люстры над всем этим блеском. С едой дело обстояло хуже. Это ведь можно понять. Попробуй, накорми утром отряд скаутов, а вечером таллиннское респектабельное общество. Мой отец, очень острый на язык, на вопрос, что же вчера у баронессы подавали, как-то ответил: давали нюхать розу. Это выражение стало у нас в доме расхожим. Вспоминается папин рассказ, как Татьяна Владимировна принимала приехавшего в Таллинн с концертами знаменитого тенора Дмитрия Смирнова. Хозяйка дома задала гостю за столом рискованный вопрос: “Дмитрий Алексеевич, скажите, кто выше, Собинов или Смирнов?” Всем присутствующим было ясно, что несмотря на славу и признание всем миром Смирнова, Собинов был выше. В ответ на этот вопрос артист, помолчав, произнес задумчиво: “Видите ли, у Смирнова все дело в школе, а у Собинова все от Бога”.

Дмитрий Смирнов, в то время уже сильно пожилой, но очень еще эффектный и хорошо сохранившийся, был как-то приглашен в нашу русскую гимназию на литературный кружок и с первого взгляда влюбился в ученицу старшего класса Нину Голубеву. Она была очень хороша собой. Разница в годах была катастрофической. Отец Нины, будучи гораздо моложе жениха, буквально рвал на себе волосы, но свадьба состоялась, и молодые отбыли в Ригу, где и зажили своим домом. Через несколько лет, уже во время немецкой оккупации, Дмитрий Алексеевич скончался. Надо отдать должное его жене, она самоотверженно за ним ухаживала. После его смерти она уехала за границу. Странное какое совпадение. На похороны Смирнова спешил экзарх православной церкви в Прибалтике Сергей. На пути из Литвы машина его 29 апреля 1944 года была расстреляна из лесу неизвестными, и он был убит. Тайна его смерти осталась нераскрытой. Кто говорил, что стреляли большевики, а кто подозревал и немцев.

А за 10 лет до того, казалось бы, в такое мирное время, в ночь с 11 на 12 октября 1934 года в Риге был зверски убит неизвестными глава Латышской православной церкви, архиепископ Иоанн Поммер. В это же время в Риге же скоропостижно скончался приехавший сюда из Советского Союза великий русский певец Леонид Витальевич Собинов. Разве не удивительно?

Так. А Штакельберги? Вся их семья перед войной уехала в Германию. И тогда только в Таллинне стало широко известно, что молчаливый помощник барона в адвокатуре, постоянное присутствие которого в этом доме стало для друзей и знакомых давно привычным, был во все время существования фашизма в Германии негласным представителем Гитлера в Эстонии. Тогда только вспомнилось, что в последние годы этот ничем не выдающийся человек стал вдруг ни с того ни с сего заметно наглеть. В награду за заслуги перед “Родиной” фюрер пожаловал ему имение, кажется, если не ошибаюсь, в Польше. Конюшни этого имения примирили строптивую Луру Штакельберг с ненавистным ей прежде папиным помощником. Очень уж она всегда любила лошадей. О дальнейшей судьбе их брака я ничего не знаю.

А младшая сестра умерла совсем молоденькой в каком-то немецком санатории от чахотки. Матери всю жизнь недосуг было за ней пристально следить, и она с самых первых гимназических лет невозбранно пила уксус и ничего не ела, чтобы похудеть. Помню ее черный лакированный пояс на форменном гимназическом платье. Он затягивался большим бантом, концы которого делались все длиннее, и мне казалось, что кушак этот вот-вот перережет мою подругу пополам. Так и случилось. Обо всем этом написала мне в 1943 году из Германии сама баронесса.



Р С Х Д . 1 9 2 0 - 3 0 - Е Г О Д Ы

Русское Студенческое Христианское Движение. Название это пришло к нам из центра эмиграции — Парижа. Таким и осталось, хотя студентов именно у нас в таллиннском Движении и не было. Старшими были люди 30-40 лет. Это было ядро. В начале 1930-х появилась совсем зеленая молодежь. Меня ввела туда моя мама, хоть и не была никогда членом Движения. К церкви нас, детей, приучила та же мама. В раннем моем детстве водила она меня причащаться каждое воскресенье. Мальчики к тому времени уже оба прислуживали в алтаре. Дом наш в этом отношении был патриархальным. Параллельно со школьными занятиями Законом Божиим, к нам в

наши еще сравнительно обеспеченные времена приходил домой батюшка и учил Закону Божьему братьев. Мне позволялось тоже сидеть и слушать. Мы соблюдали в какой-то мере посты, всю страстную ходили на службы в церковь. В Великий четверг несли после Двенадцати Евангелий домой горящие свечи и очень огорчались, если они тухли на ветру. Придя домой красили всей семьей яйца, причем традиционно у каждого был свой цвет. У папы — красный — это самый главный цвет для пасхальных яиц, а папа всякое дело, которое он делал, делал лучше всех. В субботу днем ходили в церковь освящать кулич и пасху. Во всех церквях стояли длинные столы, на них прихожане развязывали свои белые узелки и расставляли принесенное: кто только яички, кто кулич или бабу, а кто и то и другое. От времени до времени священник отрывался от исповеди, подходил к столам и освящал все принесенное. Через некоторое время набирались новые ожидающие, и он снова подходил с крестом, серебряной чашей со святой водой и кропилом. А ночью, под перезвон колоколов всех таллиннских церквей, мы весело шли на заутреню. Пока я была маленькой, нас лишь подводили к храму, мы смотрели на крестный ход, выслушивали литию, отвечали на возглас батюшки “Христос воскрес!” “Воистину воскрес!” и шли домой разговляться. С годами все это переменилось, и мы стояли в церкви всю заутреню. А в светлое Христово воскресенье к маме приходили визитеры. Поздравят, похристосуются, попробуют кулича и пасхи и бегут в следующий дом, чтобы никого не обидеть.

В этой связи вспоминается мне один случай. Страстная суббота. В доме хоть шаром покати, ни о каком пасхальном столе не может быть и речи. Мама с грустным лицом наводит в квартире чистоту, чтобы хоть этим отметить праздник. Ночью (а я уже в детстве страдала бессонницей) мне приходит на память, что наш школьный батюшка предлагал приносить ему сухой хлеб, он с удовольствием купит для своих кур, которых он держал в церковном дворе. Будучи маминым генеральным советником, я рассказываю ей это утром. Мы быстро очищаем всю нашу кладовку от давно копившихся сухарей, складываем их в большой полотняный мешок и несем его, обе держа за ушки, в Казанскую церковь, вернее не в церковь, а к отцу Василию Каменеву на квартиру. На беду встречаем по дороге друзей нашей семьи генерала Штубендорфа с племянником. В ответ на их

недоумение мама в двух словах объясняет, что вот делали предпраздничную чистку и несем курам хлеб. Генерал откланивается, высказывая надежду, что завтра ему позволено будет нанести маме визит и попробовать ее непревзойденной пасхи. Мама милостиво разрешает. Батюшка наш, не им чета, конечно, все понял, положил на стол крону и тактично вышел, якобы затем, чтобы вытряхнуть сухари и принести мешок. А на другой день у мамы были и кулич и пасха, сделанные на эти деньги. Так она, бедная, выкручивалась долгие годы, и никто в городе не подозревал, чего ей эта жизнь стоила.

Дважды в году в город привозили чудотворную икону. Одну из Пюхтицкого монастыря, другую из Печерского. При всей нашей бедности мама обязательно приглашала причт с иконой к нам домой. Вносили икону под чехлом две монахини. Ставили на заранее приготовленный столик. Зажигались свечи, и священник с дьячком начинал молебен. Потом монахини проносили икону по всей квартире, а священник шел сзади и кропил стены святой водой. А дальше мы все должны были пройти под иконой. Монахини с трудом поднимали ее повыше, а мы все к ней прикладывались и, склонившись, проходили под ней. Этим молебен кончался, и причту предлагался чай. Папа мой, хоть и не большой церковник, но всегда во всем этом участвовал и неукоснительно все исполнял.

В 1929 году моя мама, несмотря на свою погруженную в семью и заботы жизнь, поехала на II Печерский съезд Русского Христианского Студенческого Движения. Вернулась прямо светящаяся от воодушевления, от насыщенности всем увиденным и услышанным.

Она предложила мне поехать на следующий съезд Движения. Это было уже в 1932 году. Съезд состоялся в Пюхтицком монастыре. До этого я о Движении ничего не знала. Только один раз мама взяла меня с собой на однодневный выезд таллиннских движенцев пикником за город. Ехали мы в битком набитом грузовике. Все веселые, молодые (так мне казалось тогда), удивительно дружные и дружелюбные. Уехали недалеко от города. Весело слезли с машины. Расположились на живописной поляне. По двое, по трое, группами. Кто-то читал короткий доклад, было очень живое обсуждение. Потом стали стелить на траве скатерти и раскладывать еду, какую кто привез. И я впервые увидела такой общий стол, когда еда раскладывается так, чтобы во всех концах было одинаковое разнообразие, что-

бы все было поровну и никому не обидно. И тот, кто вынул из бумаги всего два-три бутерброда, и те, кто привезли целую корзинку провизии — все были хозяевами этого пиршества. И мне это ужасно понравилось. Такая невиданная до тех пор непринужденность и простота отношений. Через несколько минут меня все уже называли по имени и относились ко мне так, будто я, несмотря на мой возраст, им ровня, и мы знакомы уже невесть сколько лет.

А теперь я ехала на целую неделю на большой съезд всех движенцев. Мама, чтобы мне не было так уж одиноко, захватила с собой мою подружку, которая жила в том же местечке Аэгвийду на даче, что и мы. Мама сопровождала нас только до узловой станции Тапа, где с рижского поезда должны были сойти многочисленные рижские движенцы. И вот они уже выходят: оживленные, смеющиеся, счастливые; не задумываясь, принимают в свою дружную компанию двух девчонок, и мы уже едем другим поездом в направлении Ларвы в Пюхтицкий монастырь.

Сейчас мне кажется знаменательным, что мама из всей толпы рижан выбрала Николая Петровича Литвина. Или кто-нибудь его к маме подтолкнул? Он был с такой сияющей улыбкой, такой приветливый, милый, сразу вызывающий доверие. Мама попросила его взять под свое покровительство двух девочек, едущих впервые на съезд — это для них грандиозное событие. Николай Петрович горячо обещал, но... слова своего ну ни в малейшей степени не выполнил. За все время съезда на нас даже не взглянул. Зато шефство над нами взяли рижанки, — с ними вместе мы и поселились на сеновале и дружно прожили всю неделю. Скорее всего Литвин, как секретарь Латвийского Единения, дал им такое задание. А может быть, и знал, что они все так добры, что им и задания давать не надо. Сами разберутся.

Но символично не это, а то, что когда через много лет я, выйдя замуж за латвийского движенца, переехала в Ригу и когда моего мужа 9 января 1945 года арестовали, первым, кто пришел ко мне в тот же день, был Николай Петрович. Стесняясь, он сунул мне 200 рублей. Я, конечно, была без денег. И с тех пор, они оба, и он, и жена его, Тамара Дмитриевна, в полном смысле слова ни на день не забывая, делили со мной мою беду. Мамы моей тогда уже не было в живых, но она же поручила меня ему когда-то. Я всю свою долгую



Васса Арсеньевна Дезен с дочкой Лялей. 1929 г.

жизнь, до сегодняшнего дня всегда ощущаю мамину заботу и опеку.

А в монастыре все было удивительно, все было прекрасно. Эта изолированная от мира жизнь, молчаливые тени монахинь, идущих мимо нас с низким поклоном. Ежеутренние и ежевечерние службы. Трапезы в монастырской трапезной. Поход

ранним утром к святому источнику и обратно. Но самое интересное все-таки было общение со всеми движенцами. Каждый день читался чей-то большой основательный доклад. Потом шло обсуждение. Спорили, доказывали, иногда возмущались, но все это было пронизано общим пониманием главного и еще заинтересованностью во мнении друг друга. А после обеда в разных уголках обширной территории монастыря, где-нибудь в тени каменной стены храма или под большим деревом велись семинары. В первый же день объявлены были темы семинаров и их ведущие. Выбор был большой. Ведущие один интереснее другого. А вечером после службы собирались группами просто поговорить, посмеяться, попеть. Помню тогда парижанку мать Марию Скобцову (Кузьмину-Караваеву). Она только-

только приняла постриг. Ее монашеское одеяние было старое, штопаное. Она сказала, что оно мужское, и туфли на ней тоже были мужские, стоптанные. Она сидела на ступеньке храма веселая, улыбающаяся, розовощекая, с очень сильными очками на близоруких глазах. Много шутила. Между прочим, на вопрос, что для нее стало самым трудным при переходе в другой мир, она весело ответила: “Отказ от курения!” До сих пор ей снятся по ночам толстые чинчики (так она называла окурки). В последний вечер была общая, а по желанию и отдельная исповедь, а утром причастие. Удивительное было ощущение, когда весь храм полон только причастниками. Вот и закончился съезд. Я нашла на нем много друзей. Иных на всю жизнь. Отец Сергей Четвериков — наставник Движения — стал мне писать из Парижа, и Алеша Ионов из Латвии, вскоре принявший сан священника, годы вел со мной переписку. А отец Сергей писал до самого прихода Советов в Эстонию. Так они заботились о каждой человеческой душе.

Основным стержнем таллиннского Движения была семья Дезенов. Васса Арсеньевна за дни съезда сумела стать для меня близ-



Татьяна Евгеньевна Дезен. 1929 г.

ким человеком, и осенью с началом учебного года я явилась к ним в семью. Она сидела на кухне и кормила кашей годовалую Киру. Тут, за кухонным столом, и родился первый кружок будущих витезей и дружинниц Движения — кружок “Правда”. Нас набралось 5 девочек. В те времена — это 1932 год — у Движения не было еще своего помещения. Ютились мы в довольно-таки холодном подвале под собором на Вышгороде. Мы в шутку называли себя христианами в катакомбах. Приходили, зажигали примус, ставили чайник и начинали свое собрание. Васса Арсеньевна вела нас твердо, но мягкой рукой. Жили мы с ней на удивление интересно, разнообразно, весело. Каждое собрание поручалось кому-то одному. Он готовил что-то вроде сообщения на принятую всеми заранее тему. Мы очень старались. Перекапывали массу материала. Многое сами по дороге узнавали и все это потом докладывали. Споры за чаем с булкой были горячие. Возмущались, сердились и под уверенным и мудрым руководством Вассы Арсеньевны приходили к общему согласию.

А в это время росли и другие кружки. Сыновья Елены Александровны и Федора Антоновича Гизетти Митя и Толя организовали их из мальчиков своих классов. Много сил отдавал нашим мальчикам Слава Чернявский, вернее, Ростислав Александрович. Небольшого роста с густыми черными, совершенно прямыми волосами, сутулый до горбатости, Слава незаметно возился с ними, не поднимая шуму. Странно — в нем не было ничего спортивного, что так нравится мальчикам, он не зажигал их пылкими речами на отвлеченные темы, но они были к нему привязаны, а он к ним. И та, и другая сторона вели себя по-мужски сдержанно.* У Вассы Арсеньевны образовался второй кружок — из девочек нашей же гимназии, но на год моложе. Во главе с Татьяной Евгеньевной Дезен возник кружок “Колокол”, в который входили бывшие ученицы Казанской школы. Она была тогда уже директрисой этой школы, а мы к тому времени все уже учились в гимназии. Я несколько лет ходила и в тот, и в другой кружок — и в “Правду” и в “Колокол” — и имела возможность сравнивать. А может быть, тогда и не сравнивала. Это пришло, наверное, гораздо позднее.

* Впоследствии Р.А.Чернявский погиб в недрах НКВД.



О. Иоанн Богоявленский

Фото из архива Елены Федоровны Камзол

Татьяна Евгеньевна предложила нам встречаться у нее дома. Она занимала довольно большую комнату в коммунальной квартире без всяких удобств. Было холодновато, как-то похолостяцки неуютно. Так и вижу строгую Татьяну Евгеньевну, режущую для нас хлеб, прижав наподобие русских баб ковригу к груди. Зимой она ходила в потертой кожаной куртке, а летом и дома я помню ее только в длинных русских сарафанах. Истово верующая (так и хочется сказать “неистово”), она вела “Колокол” как религиозный кружок. В отличие от Вассы Арсеньевны, занимавшейся с нами скорее историей русской культуры, разумеется, на фоне

православия. Они были очень разные — эти две представительницы Дезенской семьи. Вассу Арсеньевну молодежь горячо любила. Татьяну Евгеньевну все очень высоко ставили и очень уважали. Мнение ее было, пожалуй, самым авторитетным в нашем Движении, если не считать, конечно, нашего духовного руководителя, отца Иоанна Богоявленского.

Отец Иоанн, настоятель собора, преподавал в нашей гимназии Закон Божий. С нами, учениками, он был невероятно добр и кроток. Он никогда не ставил никаких отметок кроме “пятерок”. За все долгие десятилетия преподавания была у него одна и та же потерянная синяя записная книжка, своего рода дневник нашего преуспевания. Если ты, отвечая на уроке, не дотягивал до “пятерки”, в строку с твоей фамилией ставилась точка. Иногда этих точек накапливалось свыше всякой меры, и тогда батюшка говорил строгим голосом: “Марья, я тебя в следующий раз вызову, и тогда держись!” Тут уж сядешь и выучишь все задания месяца за два, но желанная “пя-

терка” встанет-таки в ряд с точками. Мой старший брат очень любил отца Иоанна и в этой любви переходил все границы, считая его ну совершенно своим. Он сидел на первой парте и позволял себе иногда поиграть в распространенную у детей игру, а сам-то был уже лет 14. Батюшка рассказывая урок, клал руки по бокам стола, всегда слегка растопырив пальцы. Такая была привычка. И дерзкий мальчишка начинал свою игру — бисто-быстро тыкал своим пальцем в промежутки между пальцами батюшки, причем условие игры такое, что дотронуться до руки батюшки он не смел. Отец Иоанн терпел, рук со стола не снимал. Но, закончив объяснение следующего задания, он с доброй усмешкой смотрел на Димку и говорил только: “Дурень ты, дурень”.

Отец Иоанн был кладезь премудрости. Был редко образован. Его почитали все, и верующие, и неверующие. Вот он-то и был духовным руководителем нашего таллиннского Движения, был его в какой-то мере духовным стержнем. Впоследствии он стал епископом Исидором, был переведен в Ленинград, где руководил Духовной академией.

В нашем Движении были и еще два замечательных священника, но это гораздо позднее. Отчасти они и выросли в Движении. Мы их помним как Шуру Киселева и Славу Лозинского. Оба участники съездов. Серьезные, думающие и в то же время легкие и веселые, оба всегда с улыбкой на милых лицах, но очень ответственные в суждениях. Мы их обоих очень любили. Во время оккупации отец Александр Киселев был настоятелем кладбищенской церкви. Потом он уехал за границу и сменил его отец Ростислав Лозинский. С обоими я не то что дружила, это для меня слишком много чести, но были мы в очень хороших отношениях. Был еще и третий священник, что называется, выкормыш Движения и лично отца Иоанна Богоявленского. Это Саша Осипов. Он потом отрекся от церкви и стал активным проповедником атеизма. Это наш-то Саша, такой тихий, серьезный, не умевший смеяться и дурить, а интересовавшийся только религиозной философией и богословием. Он был типичным начетчиком. И вдруг мы постоянно слышим по радио его голос, произносящий хулу на все это. Саша был женат на дочери священника о. Николая Павского. Были у него с женой дети. Сашу с началом войны мобилизовали в армию и увезли в Россию, а вся семья отца

Николая, в том числе и Сашина жена с детьми, уехала во время оккупации в Германию. Может быть, этим можно хоть отчасти объяснить его озлобление.

Но я еще не дорассказала о семье Дезенов. Васса Арсеньевна была замужем за братом Татьяны Евгеньевны — Петром Евгеньевичем. Он по своей натуре был самым настоящим праведником. Никогда не думал о себе, о своих удобствах или выгоде. Всегда был готов к служению людям. Дом их был открыт для всех, кто маялся над неразрешимыми внутренними проблемами, кто думал о каком-то своем пути, кто, наткнувшись на разочарование, искал здесь поддержки. Вечерами за их столом собирались люди. Шла общая беседа. Некоторые так и уходили, не сказав ни слова, но с радостными, успокоившимися лицами. Так было тепло, свободно, столько было ненавязчивой, некричащей доброты и доброжелательности. Расходились обычно поздно. Я жила далеко, и Петр Евгеньевич, захватив велосипед, шел меня провожать. Я ведь была еще совсем юная. Идя в любую погоду быстрым шагом, мы обсуждали все наши молодежные дела. Вскоре наши кружки обрели общее название Дружины. Вот дела Дружины нас и волновали. Причем надо сказать, что Петр Евгеньевич не руководил ни Дружиной, ни каким-нибудь кружком. Он был как бы за сценой. Помню, мы организовывали первый съезд Дружины. Хлопот было выше головы. А тут еще мне надо было читать вступительный доклад “Молодежь — залог будущего”. Я совершенно растерялась. Тот же Петр Евгеньевич в один из наших вечерних походов подсказал мне тезисы. Ничего, что впоследствии в ходе написания доклада многое было изменено, а многое отпало. Это неважно — толчок был дан, и колесо покатилося по указанной Петром Евгеньевичем колее.

У Дезенов было двое детей. Две девочки. Когда мы начинали, младшей, Кире, был год. Ляля была немного старше. Это не мешало Вассе Арсеньевне точно приходить на все кружки, не пропуская собраний самого Движения. Прислуги у нее, естественно, не было. Жил с ними, правда, дед, Евгений Робертович. В России он был судьей, а в Таллинне продавал сушки. Ходил по улицам с большой корзиной сушек, заходил в дома, предлагал их хозяйкам. Были у него и свои постоянные клиенты. А в большие праздники на наших торжественных общих собраниях он появлялся в нарядном, хоть и си-



Кира Петровна Дезен. 1958 г.

льно поношенном, черном длинном сюртуке, в черном галстуке и определенно придавал весу и солидности нашей разношерстной компании. На все съезды — и общедвиженские, и Дружины — Дезены ездили всей семьей. Дети были обязательным приложением. Они были воспитанны, никогда не было никаких капризов, и никому они не мешали.

Судьба Дезенов страшная. Во время войны Петр Евгеньевич с семьей уезжал в эвакуацию последним эшелонам. Как им удалось дожить в целостности до 9 июля 1941 года, я не знаю. Думаю, что спасла их частая смена квартир. НКВД не успевало установить их новый адрес. Татьяну Евгеньевну и ее жениха, а в последние недели уже и мужа, Николая Николаевича Пенкина, постигла участь ужасная. Они были летом 1940 года арестованы и расстреляны. Одновременно с ними был расстрелян секретарь Движения по Прибалтике Иван Аркадьевич Лаговский и тартуский движенец Лев Дмитриевич Шумаков. Именно поэтому я недоумеваю, как это Петру Евгеньевичу удалось сохранить в полном составе свою семью. Я по долгу службы, будучи секретарем государственной эвакуационной комиссии,

везла на станцию Юлемисте, что под Таллинном, документы для всех отъезжающих в эвакуацию этим последним эшелонем. В машине, просматривая простыни списков, поняла, что удостоверение коменданта поезда надо выписывать только на Петра Евгеньевича. Этот человек безукоризненной честности, никого не обманет, никого не обидит и сделает все по совести, самым наилучшим образом. Кроме того за ним был многолетний опыт общественной работы.



Николай Николаевич Пенкин. 1930 г.

В толпе, с нетерпением встречавшей нашу машину (немцы весь день норовили разбомбить эшелон, а войска их были за 60 км от Таллинна), я сразу заметила Петра Евгеньевича. Свое согласие на эту ответственную, беспокойную, часто мучительную, никак не оплачиваемую работу он дал, не задумываясь ни на минуту. Должно быть, и сам где-то в душе понимая, что именно ему надо взять эту ношу на себя. Это была моя последняя встреча с родной моему сердцу семьей. Уже на месте, в эвакуации, к Дезенам в дом пришел тиф. Сначала умер старик Евгений Робертович, потом сын его,

Петр Евгеньевич, и наконец, Ляля. Васса Арсеньевна осталась в чужом краю без кормильца с маленькой Кирой. Как уж они пережили эти годы, одному Богу известно. После конца войны Вассе Арсеньевне было ясно, что жизнь в Таллинне ей заказана — там снова ждет ее НКВД. И она выправила документы на Ленинград, где у нее жила сестра. В Ленинграде она стала работать продавщицей в продуктовом киоске. Но тут ее, неопытную и наивную, постигла катастрофа. Ей какие-то воры из непростредственного начальства приписали недостачу, в результате чего она, уже болея туберкулезом, оказалась в тюрьме. Потом еще долго болела и умерла. Так кончилась эта семья подвижников. Осталась только Кира — Кира Петровна. Жила она в Петербурге. С ней и ее сыном Толей я очень дружила. Кира Петровна Дезен погибла 1 августа 1997 г. Она гостила у своих дальних родственников под Москвой. Накануне исповедовалась и спешила на вокзал, чтобы ехать в Троице-Сергиеву Лавру причащаться. Увидев подходившую электричку, не поняв, что она проходная, К.П. побежала через рельсы и осталась под поездом. Через год совсем еще молодым умер ее сын Толя. Все. Больше из этой замечательной семьи нет на земле никого.

Мне очень хочется поговорить о муже Татьяны Евгеньевны Николае Николаевиче Пенкине. Он жил в Печерах. Окончил Таллиннский педагогический институт и поехал учителем в Печерский край, в глухомань в деревню Шумилкино. Жил наравне с крестьянами в самых примитивных условиях. Во второй половине 1930-х годов пригласил он несколько человек из Таллинна на зимние дни Движения в деревню Шумилкино. Стоял мороз в 30 градусов. Он нас встречал на двух дровнях. Были приготовлены полости и шубы. Мы с криками и хохотом рухнули в сено, закрылись шубами, и полозья закрипели. Коля был в своем обычном демисезонном драповом пальто. Но время от времени перебегал от своих саней к нашим и на ходу крича, подбадривал нас и веселил какой-нибудь шуткой. Достаточно уже было взглянуть на его улыбающееся лицо, в необыкновенные зеленые глаза, чтобы настроение поднялось и красота бескрайних снежных полей снова владела нами и отступал куда-то очень уж крепкий мороз.

В Шумилкине нас окружили молодые крестьянские ребята — все ученики Николая Николаевича. Они были к нему привязаны точно

так, как и вся наша таллиннская Дружина. Он им был и отцом, и другом, и наставником. Все его выступления и реплики они слушали буквально затаив дыхание. За очень короткое время он из этих совсем простых крестьянских юношей и девушек сделал думающих, пытливых людей. У всех у них были разные характеры, часто разные интересы, но это уже были личности, каждая со своими запро-



Михаил Александрович Ридигер. 1930-е годы.
Фото из архива Елены Федоровны Камзол.

сами, каждая с уже намечавшейся дорогой. Мы, городские, подна-
торевшие в разного рода дискуссиях и прениях, с интересом, на ра-
вных вели с ними споры, часто вынужденные уступить перед их све-
жей логикой и здравым смыслом. Так Коля готовил молодежь для
России. Все мы пытались думать в этом направлении. Но Николаю
Николаевичу это удавалось по-настоящему. Свое огромное дело он
творил как будто между прочим, незаметно, всегда посмеиваясь,
подшучивая, поддразнивая. Никто не оставался за кругом его вни-
мания. Мне он писал письма много лет подряд. Это при всей его за-
нятости. Удивительные были люди движенцы.

Очень освещали своим участием наши общедвиженческие собра-

ния Михаил Александрович Ридигер и его сестра Елена Александровна, по мужу Гизетти. Брат и сестра были очень похожи друг на друга. На бледном красивом лице огромные лучистые глаза, добрая, какая-то заранее все прощающая улыбка, тишина, спокойствие, скромность. Они были внимательны и ласковы ко всем без исключения, иначе они не умели. Оба были еще молоды в 1930-е годы.

У Михаила Александровича рос в это время маленький сын. Лицом он был похож на мать — она была красивой брюнеткой с мелкими чертами лица и очень пристальным взглядом черных глаз. Алеша был прелестным, отлично воспитанным мальчиком. Появлялся он у нас в Движении в те годы в коротеньких синих штанишках, в великолепно отутюженной белой рубашечке. В основном вижу его именно таким. Он уже в детстве построил себе в сарайчике (жили они за городом) что-то вроде часовни и постоянно справлял там “службу”. Видно, что уже тогда ясен был ему его путь. Теперь Алексей Ридигер — Патриарх Всея Руси Алексей II. Да простит мне Его Святейшество легкость тона моих о нем воспоминаний. Но я, невзирая на разницу в годах, так близка была с его тетей, его отцом, а позднее с его двоюродной сестрой, что позволяю себе эту смелость.

Важным делом Движения была организация приездов известнейших профессоров и богословов. Кто только не читал в нашем городе публичных лекций, всегда собиравших полный зал.

Надо отдать должное эстонским властям — они ни в чем не мешали нашей деятельности. Они свободно разрешали все наши многочисленные съезды, они совершенно не препятствовали въезду в Эстонию зарубежных лекторов, понимая, наверное, что чем больше мы заняты такими “безобидными” делами, тем лучше и для нас и для них.

Событием для всего русского Таллинна были не лекции, а скорее, проповеди еще совсем молодого отца Иоанна Шаховского. Проходили они всегда в нашем огромном кафедральном соборе. Причем высокая кафедра ставилась в середине собора, так что его фигура возвышалась над всей толпой. Голос у отца Иоанна был негромкий, но почему-то всюду был слышен. Верно, акустика в соборе очень хороша. Его вдохновенный облик и вдохновенные слова, то, как он сам загорался, говоря о самом для себя важном и нужном,

трогали всех. Совершенно непонятно, как эти тысячи людей могли выстоять в невероятной тесноте, подобной той, что бывала на заутрене, слушая его очень длинные, иногда многочасовые проповеди.

Останавливался отец Иоанн в семье таллинских купцов Малаховых, тоже членов Движения. Целыми днями в своей маленькой комнате он подолгу, нимало не спеша, беседовал с каждым, ожидавшим его совета, наставления и благословения. Очередь таких людей не иссякала до самого момента отъезда в собор.

Василий Васильевич Зеньковский — председатель всего Движения, был в каждом его отделении своим человеком. Приезжая из Парижа, он участвовал в наших общих собраниях, тут уже просто беседуя со всеми нами собравшимися. Он входил во все наши дела, интересовался всеми мелочами, направляя нас в ту или иную сторону. Он прямо светился добротой, простотой и уютом.

Профессор Бердяев тоже приезжал не раз. Но для многих из нас — зеленой тогда молодежи — лекции его были слишком умными, слишком сложными, одним словом, были нам с трудом доступны. И сам он, более для всех закрытый, оставался далеким светилом. Александр Львович Ильин при всем своем блестящем красноречии и изяществе тоже был как-то далек от нас. А вот круглый, веселый, всегда улыбающийся сквозь очки Владимир Николаевич Ильин был нам понятен, и в Движении на наших собраниях с ним было просто и интересно.

Ну а Александр Иванович Никитин, который много занимался в Прибалтике организаторской деятельностью, был у нас своим человеком. Кстати, латвийские власти в 1930-е годы запретили ему даже въезд в свою страну. Наверное это совпало с закрытием Латвийского Движения. К нам же он продолжал наезжать. Своим человеком был и секретарь по Прибалтике, присланный к нам из Парижа, Иван Аркадьевич Лаговский. Он жил в Тарту, но часто приезжал в Таллинн и направлял всю нашу работу. Очень интересовался молодежью, жизнью нашей Дружины, знал большинство из нас по именам. Так и вижу его сутулую фигуру, сидящую среди нас, его длинные, всегда жестикулирующие руки, слышу его милое, ничуть нам не мешавшее заикание. Он говорил часто и подолгу, втолковывая недоступные нам тогда истины; мы с ним даже спорили, что-то доказывая, он сердился и налетал на нас все с новыми и новыми доводами. Очень это было интересно и поучительно.

С огромным успехом выступал в Таллинне Борис Петрович Выше-славцев. Все, что он говорил, было умно, красиво и захватывающе интересно. Он был блестящим оратором. Весь его вид, каждый жест, производили на слушателей завораживающее впечатление. Может быть, любуясь им, мы подсознательно пытались удержать для себя вскоре стремительно исчезнувшую из жизни красоту, изящество, тонкость. Не помню уж почему, никто из старших не пришел на вокзал его провожать. А мы, три гимназистки — Аля Кашнева, Ляля Грауэн (впоследствии известная миланская певица Агости) и я, пришли и осмелились войти к нему в купе. Он нас усадил, и мы довольно долго говорили, причем у меня осталось впечатление, что он, пользовавшийся, наверное, постоянным успехом, был, тем не менее, доволен такими проводниками. Он даже пошутил, перефразируя Вертинского: ...и три гимназистки, как ласточки, провожают меня на концерт.

А добрый, мудрый и какой-то трогательный Лев Александрович Зандер! Как и все перечисленные мною профессора и богословы, жил он тоже в Париже. Несмотря на свою постоянную душевную муку (его дочь была от рождения инвалидом), а может быть, отчасти и вследствие этого он умел ласково коснуться каждой души, в каждого влить нужные ему силы, передать ему хоть малую толику своей веры, уверенности и твердости.

Публичные выступления наших дальних парижских руководителей составляли неотъемлемую, а вернее, главнейшую часть культурной жизни русского населения Таллинна.

Сейчас, возвращаясь на десятки лет назад, я вижу, что не было в нашем Движении никакого ханжества, никакого давления сверху. Кто хотел, тот ходил в церковь. Не хотел — не ходил. Некоторых интересовала не так религиозная философия, как тема патриотическая, других — русская литература, третьих — иконопись. Все находили в нашей общей жизни свое место, и всем было легко и привольно под руководством, даже не под руководством, а под доброжелательной опекой наших самоотверженных руководителей.

Я рассказала, как умела, о тех, кто в моем представлении являлся неременной составной частью русского Таллинна. Все эти люди и сегодня живы в моем сознании. Они рядом со мной, и мне кажется, что мы не расставались.

1940 - 1941 ГОДЫ

Закончив в 1935 г. в Таллинне Русскую городскую гимназию, я поступила на только что открытые курсы, готовившие конторских служащих на все руки. Это был ускоренный выпуск техникума. За один год мы стали балансоспособными бухгалтерами, машинистками на двух языках и русскими стенографистками. Надо отдать должное русской общественности, она заботилась о своей молодежи. Летом я стала работать корреспонденткой в фирме, занимавшейся экспортом леса, а попутно стала преподавать стенографию в организованном Л.И.Немирович-Данченко уже подлинном техникуме. Если я не ошибаюсь, весной 1940 года меня пригласили в Таллиннскую ратушу стенографировать секретное заседание представителей государств Балтики и Финляндии. Естественно, что рабочий язык заседания был русский. Тема была приблизительно такая: не объединить ли нам всем свои военные силы для защиты границ, т.е. для противостояния Красной Армии. С самого начала стало ясно, что стороны собирались зря. Финляндия от участия в этом безнадежном деле уклонилась, и разговор через некоторое время увял. Эта краткая работа стала моим боевым крещением и придала мне смелости на будущее.

Летом 1940-го, с приходом советских войск, начали закрываться все акционерные общества. А их в Таллинне было множество. В городе появилась опасность безработицы. Положение потерявших работу, в том числе и мое, выглядело в ту пору угрожающим. Все это оказалось не так уж страшно — вскоре возникли новые конторы, наркоматы и т.д. Но тогда все мы были сильно озабочены. И тут в русской газете появилось объявление, что эстонский парламент ищет русскую стенографистку, владеющую в равной мере двумя язы-

ками. Я задумалась. Через неделю все-таки решилась и пошла в такой величественный и для всех нас недоступный замок на Вышгороде. Проведя чисто формальный экзамен, меня приняли. Аппарат государственной канцелярии Эстонии работал отлаженно и бесперебойно, как будто ничего и не случилось. В основном благодаря заведовавшей канцелярией Ли Оямаа. Это была образцовая начальница, умнейшая, тактичнейшая, проработавшая в парламенте на этом посту больше 20 лет. Она все знала, во все вникала, все умела.

Я стала стенографировать парламентские заседания на пару с эстонскими стенографистками. Между прочим, стенографировала через несколько недель и то собрание, которое приняло решение присоединиться к Советскому Союзу.

К осени парламент переименовали в Верховный Совет, потом произошло разделение. Президиум Верховного Совета переехал в парк Кадриорг, а вся канцелярия во главе с Ли Мартовной Оямаа была переведена в штат Совета Народных Комиссаров, т.е. Правительства, и осталась в здании замка. Потом будет создан переводческий отдел, но в тот момент переводчиков еще не было.

В этой связи вспоминается очень страшный случай, произошедший с нашей семьей в конце лета 1940-го года. Мы жили на даче в Пирита. На втором этаже этого дома жила семья тоже местных русских, Добровольских. Как-то утром, спустившись сверху, Кира Добровольская, рыдая, рассказала, что ночью был арестован ее муж. А через несколько дней, мы давно уже спали, как вдруг нас всех одновременно разбудила резко затормозившая перед дверьми машина. И родители, и мы с братом Сергеем окаменели от ужаса. И тут в нашу балконную дверь стали стучать. Я тихонько подошла к дверям и посмотрела в замочную скважину. При свете луны поблескивали серебром пуговицы на мундире стучавшего. Я вернулась к своим. Папа, прощаясь с нами, нас всех благословил, и мы пошли открывать. На пороге стоял парламентский шофер Вилькес и извиняющимся тоном сообщил, что меня вызывают на работу по срочному делу. Работа была действительно срочная. Мне надо было перевести на русский язык только что созданную Конституцию Эстонской Советской Социалистической Республики. Некоторое время промаявшись, я додумалась до того, что где-то наверняка имеется конституция какой-нибудь другой республики; оттуда многое можно позаимство-

вать. Походив в совершенно пустой канцелярии, без труда нашла Конституцию РСФСР и тут уж стала не переводить, а правда, сравнивая каждое слово, прямо в машинку переписывать страницу за страницей. Таким образом, на удивление начальства, работа моя была окончена в срок. Почему они мне сами не открыли секрета, что свою конституцию они переводили с русского, я до сих пор не знаю.

Думаю, что вряд ли из моих сослуживцев по Совнаркому кто-нибудь написал воспоминания. Все они были намного старше меня и ко времени горбачевской перестройки уже не очень были расположены писать, а до того — кому же это приходило в голову? Во всяком случае, мне кажется, что кое-что из моих воспоминаний может оказаться для некоторых читателей интересным.

В сентябре в Риге начала работать советско-германская комиссия по урегулированию вопросов, связанных с переселением прибалтийских немцев в Германию. От Эстонии в комиссию был командирован мой непосредственный начальник управляющий делами Совнаркома Х. Хаберман.

Совсем незадолго до этого пролетел слух, что у нас появился новый управляющий делами. Беспартийная Ли Оямаа была назначена его заместителем. Меня, как и других, вызвали к нему представляться. Новый начальник поразил меня с первой встречи. Из-за большого стола в глубине кабинета поднялся сравнительно молодой элегантный человек, вышел ко мне, девчонке, навстречу к самым дверям, красивым жестом пригласил меня сесть, и мы провели с ним не сумрачно официальную, а совершенно непринужденную беседу, как принято во всяком светском обществе. Потом он меня снова проводил до дверей, и я, сильно озадаченная, удалилась. А позднее узнала, что начальник мой пришел в политику из Тартуского университета, где он работал ассистентом на кафедре биологии. Это все ставило на свои места. Кстати, Хаберман, вернувшись из эвакуации и проработав некоторое время на прежнем месте, уволился, вернулся в Тарту, где стал проректором университета по учебной части, но это его не очень интересовало. Интереснее всегда была наука. Он создал институт биологии, стал его директором, а потом, в 1950-х годах, и академиком эстонской Академии наук.

Он-то и уехал в Ригу членом международной комиссии, а вскоре вызвал туда русскую стенографистку, т. е. меня.

В Риге комиссия разделялась на две части. Одна имущественная, а как называлась другая — не знаю. Все это происходило в здании бывшего советского полпредства на бульваре Калпака. В огромном нарядном зале стоял длинный стол. Налево восседала германская сторона, направо — русская. В нашей комиссии иногда появлялся один латыш, но редко. В торце стола размещались переводчик немецкий и их стенографистка, напротив наш переводчик и моя персона. Работа поначалу меня пугала. Заседали они минимум три часа в день. А ведь еще предстояла расшифровка, которая берет во много раз больше времени, чем запись. Меня, очень тогда неопытную, спасло то, что записывать мне надо было только русскую речь нашей стороны и речь нашего переводчика. Надо отдать ему справедливость, Соломон Давыдович Лихтенберг, бывший секретарь полпредства, знавший семь языков, переводил замечательно. Второе обстоятельство — я знала немецкий и иногда забегала вперед и начинала писать еще до того, как он раскрыл рот, но это было, конечно, некорректно и незаконно. Все время, пока говорили немцы, я могла править написанное и отдыхать.

Немцы были все хорошо одетые, ухоженные интеллигенты, с великолепными манерами, с хорошо поставленными голосами. Наши же рядом с ними выглядели неописуемо. Одетые кое-как, все почему-то в слишком коротких брюках, как будто они из них выросли, плохо причесанные, не умеющие ни сесть ни встать — эта внешняя картина была ужасна. Но когда начинали обсуждать какой-то вопрос, то очень скоро любому человеку со стороны стало бы ясно, что нашим русачкам палец в рот не клади, они и хитрее, и заметливее, и придирчивее, и напористее. Это все были работники Министерства иностранных дел Союза. Зачастую немцы уходили в некотором замешательстве, или правильнее сказать, в недоумении.

Наши, отдохнув, шли обсудить заседание прошедшее и будущее, а я садилась за расшифровку. Со мной в одной комнате работала стенографистка другой комиссии и там же от нечего делать слонялась их переводчица. Это были напыщенные, малоинтеллигентные, вечно красящиеся и смотрящиеся в зеркало штатные работницы Министерства иностранных дел из Москвы. У них было одно устремление — вырваться в город — в этот “маленький Париж” и хватать, хватать все, что попадется в магазинах под руку. Поразитель-

ным был случай, когда они, объявив, что идут на поиски высоких бот, пришли сияющими, нагруженные разного рода занавесями. Тогда я еще не понимала, что в Советском Союзе в магазины ходили не для определенной покупки, а с целью не пропустить то, что сегодня “выбросили”. И вместе с этим высокопарны девицы были необычайно. Молотова называли в разговоре не иначе, как Вячеслав Михайлович, будто были с ним, вроде Хлестакова, на короткой ноге. Делали вид, что на меня смотрят, как на пыль: хорошо бы смахнуть, да не с руки. Мой шеф, ничем не похожий на очень высокоотстоявшее от девушек их министерское начальство, вызывал у них невероятный интерес. Вскоре из Москвы приехала еще одна машинистка. Совсем простая девушка Капа с красным носиком на круглом блестящем личике, без намека на пудру и краски, с прямыми подстриженными под горшок волосами. Откуда она появилась в штате министерства — кто ее знает. Печатала она прилично, но и только. В остальном осталась деревенской девчонкой. Моих девиц она шокировала донельзя, и они, вынужденные ей иногда что-то объяснять, цедили слова сквозь зубы и в открытую смеялись над ее длинным нескладным пальто и красным беретиком на голове. Мы с шефом решили, что бедной девочке, не знающей куда ступить и что делать, надо показать хотя бы Ригу. Девицы увязались за нами. Мы долго бродили по Старому городу и по паркам, а на обратном пути мой начальник вдруг попросил нас его подождать и зашел в кондитерский магазин. Тогда они еще существовали. Появился он с преувеличенно большой коробкой конфет. Глаза у девиц загорелись. Каждая из них решила, что это именно ей за ее красоту и умение поддержать беседу. А он подошел к Капе и без всяких слов передал подарок ей. Их лица вытянулись и сразу увяли.

Мы приехали в Ригу в сентябре, а на ноябрьские праздники было решено пригласить всех немцев на прием. В программе вечера был просмотр фильма “Чапаев”, а потом ужин. Поскольку переводчиков было только два, нас с Хаберманом попросили тоже переводить немцам фильм. Все было как будто хорошо, но на другой день председатель нашей комиссии сделал мне замечание, что я была любезна с немцами, в то время как следует говорить только самое необходимое и соблюдать дистанцию. А ведь это было время расцвета советско-германских отношений.

Как-то вечером я была вынуждена допоздна засидеться на работе. Стенограмма была, не помню почему, бесконечной, и я печатала уже много часов в совершенно пустом доме, когда появился так называемый секретарь, а проще — администратор всей комиссии Бабенко. Отвратительный тип с мокрыми руками, с побитым оспой лицом и грязным взглядом маленьких глазок. Не теряя времени, он стал ко мне приставать. Поначалу я отшучивалась, потом тщетно просила мне не мешать. Он же, доказывая, что дом пуст и никто ничего не узнает, подступал все ближе и ближе. Я схватилась за телефон, чтобы вызвать жившего на самом верху этого же дома Лихтенберга, но Бабенко вырвал аппарат у меня из рук и отшвырнул его. В это время из соседней, отделенной от нас бархатными занавесями гостиной раздался кашель. Мой враг с испугом спросил, кто это. Я ответила, что не знаю. Я действительно, проработав весь вечер, понятия не имела, что в комнате для отдыха членов комиссии кто-то еще есть. Кавалер мой тут же ретировался, а я продолжала печатать. Кончила я где-то после 12-ти. И только когда я с грохотом закрывала металлическим футляром машинку, из задней комнаты вышел мой начальник и невозмутимо спросил: “Вы всегда так усидчивы в работе?” Мы пошли в гостиницу, где была размещена вся комиссия. О моем конфликте с администратором не было между нами сказано ни слова, но именно моя работа в этот вечер сыграла, по-моему, большую роль в моей дальнейшей судьбе.

Комиссии уже свертывали свою деятельность. Через некоторое время шефа моего отозвали в Таллинн, а недели через две поехала и я. Дело в том, что с приходом Красной Армии в Эстонию дом, в котором жила наша семья и которым управлял мой отец, перешел в ведение КЭЧ — квартирно-эксплуатационной части Краснознаменного Балтийского флота. Отца оставили на его должности домоуправа. И вот, работая в Риге, я получаю телеграмму от мамы: папа развелся с КЭТ, срочно приезжай. Я поняла, что КЭТ это, конечно, КЭЧ, и, отпросившись у начальства, на попутном газике помчалась в Таллинн. Оказалось, что папу не только уволили с работы, но и выгоняли из квартиры. Я пошла в Совнарком и явилась к шефу доложить о своем приезде. Рассказала, естественно, и о причине моего появления. Он позвонил Ли Оямаа, и она, очень скорая на решения, тут же приказала секретарю отпечатать бумажку, адресо-

ванную в КЭЧ КБФ, где было сказано, что я на днях получаю казенную квартиру от Совнаркома. Так окончились папины неприятности, а мы переехали на жительство в служебный дом замка. Если смотреть со стороны вокзала на крепостную стену Вышгорода, то очень скромная двухкомнатная наша квартира располагалась под левой башней замка. Стены в ней были невероятной толщины. Чтобы выглянуть из окна, я должна была лечь во весь свой большой рост на подоконник. Была она для нас тесновата, но мы были счастливы. Тогда, с хлынувшим в Прибалтику потоком советских людей, начинался уже квартирный кризис.

Управделами в первый же день по моему приезду сообщил мне совершенно неожиданную новость — я назначена секретарем Председателя Совета Народных Комиссаров (а мне 22 года)! На все мои отказы и сомнения он отвечал, что приказ уже подписан. Что называется — без меня меня женили.

И вот я сижу в огромном кабинете с видом на площадь и собор. Слева двойная дверь к Председателю, справа — к его заместителю. За моими дверями в обширном вестибюле стоит вооруженная охрана. Я обслуживаю только Председателя. Напротив меня стол секретаря его зама. Но это потом. Первое время я одна и Председатель один. Это Иоханнес Лауристин. Когда-то он был рабочим завода “Двигатель”. За свои коммунистические взгляды и деятельность был наряду со многими другими посажен в тюрьму на Батарейную, где и просидели они 10 лет. Им несколько раз предлагалось подать просьбу об амнистии — они отказывались. Это были действительно идейные люди и уж отнюдь не конъюнктурщики. Освобождены они были с приходом Красной Армии.

У коммунистов полагалось назначать на первую должность человека местного, а уже так называемыми замами, обычно все решавшими, сажали приезжих из Советского Союза. Впоследствии к Лауристину заместителями назначили двух эстонцев, присланных Москвой. Это были Кресс и Пяльль. Кресс — по делам промышленности, Пяльль — по делам культуры. Оба ничего интересного ни в каком отношении из себя не представляли. Так, рядовые советские номенклатурные деятели. Пяльль еще претендовал на звание эстонского писателя. Эстонским языком оба тогда владели далеко не в совершенстве. А Лауристин был фигурой достойной. Могу это ска-

зять с полным убеждением, проработав с ним в течение года по 12 — 14 часов в сутки. Он был умен, скромн, нетороплив в действиях, в решениях. Был тактичен, умел незаметно держать всех на расстоянии. Никакого ни с кем панибратства. Думаю, что он быстро оценил все качества своих заместителей и отвел им несколько изолированные от себя места. Главным его советчиком стал наш управляющий делами — человек умный, по-настоящему образованный и отлично знакомый с местными условиями. Ни лишенный свободы в течение 10 лет Лауристин, ни его приезжие заместители не могли ориентироваться в обстановке республики, и Председатель, в отличие от других начальников, это понимал. Но своих отношений с управляющим делами никак не афишировал. Знала об этом, должно быть, только я, да ощущали на себе заместители, которых он беспокоил чрезвычайно редко. В Совнаркоме сразу же был создан секретный отдел, в котором работала очень деловая, энергичная, но нигде никогда не вылезавшая женщина по фамилии Аусман. Она имела в любое время прямой (без моего доклада) доступ к Лауристину. Через нее шли все так называемые засекреченные дела, да что только не относилось тогда к засекреченной области, конечно же, и вся переписка и все сношения с Центральным Комитетом партии и с Москвой.

Остальное шло через секретаря. У нас были открыты отделы по всем отраслям хозяйства и культуры. Штаты не были раздуты. В каждом отделе сидел один человек. Фильтруя почту Председателя, я большинство писем несла непосредственно в отделы — пусть там разбираются, и только самое важное, требующее именно его решения, представляла ему. Помню случай, он произвел на меня большое впечатление, когда к нам пришло какое-то дельное письмо на немецком языке. Я положила его в папку для доклада, а рядом подготовленный мною перевод на эстонский язык. Председатель отнюдь не демонстративно чуть-чуть отодвинул от себя перевод и, как всегда тихо и лаконично, сказал, что он знает немецкий — выучил его в тюрьме. Должно быть, он и русский выучил в тюрьме.

Что касается наркомов, насколько я помню, все они были членами партии, а многие вошли в Правительство, как и Лауристин, после десятилетнего тюремного заключения. Были среди наркомов и весьма образованные люди — это умный, блестящий оратор Ниголь

Андрезен, образованнейший, между прочим, тонкий знаток французской поэзии, нарком здравоохранения Виктор Хион, нарком юстиции Йыеээр. Очень умен и толков был нарком промышленности Арнольд Веймер.

Членов ЦК партии я совсем не знала. Обычно Лауристина вызывали туда по вертушке, а если уж первый секретарь Сяре и приходил к нам сам, то шествовал мимо меня, как мимо мебели, напыщенный, похожий на пузырь. Недолго пришлось ему так пыжиться. Он при отходе наших частей остался в Эстонии якобы для того, чтобы возглавлять подполье, но сразу же, несмотря на перекрашенные волосы, был взят немцами и, по слухам, выдал им всех, кого только мог.

Второй секретарь Каротамм производил приятное впечатление интеллигентного человека, но ничего больше о нем сказать не могу, так как никогда с ним не общалась. Похоже было, что в аппарате ЦК всем вертел некий Леонов (если не путаю фамилию). Простоватый на вид, но очень хитрый советский человек, в отличие от других, всегда одетый в гимнастерку военного образца и высокие сапоги. Он иногда бывал у Лауристина. В нашей приемной вел себя со всеми по-свойски, но как власть имущий. Все эти впечатления мои весьма поверхностны. Я ведь даже в здании ЦК не бывала.

Правда, был случай, когда я невольно заглянула за кулисы партийных дел. Как-то Лауристин попросил меня простенографировать русскую часть предстоящего первого легального съезда партии Эстонии. Он подчеркнул, что это не входит в мои обязанности, но поскольку в городе есть еще только одна русская стенографистка в ЦК, он меня лично об этом просит. Действительно, русских стенографистов не было. Мои соученики по курсам, человек шесть-восемь, в основном были из Печерского края, куда и вернулись. Да и эстонского языка они не знали.

Съезд проходил в выходные дни, но идти пришлось. Было скучно. Поднимались на кафедру по очереди какие-то деятели и по бумажке, часто невнятно, читали что-то заранее весьма бездарно подготовленное. Освежил атмосферу Иоханесс Хинт. Тогда еще малоизвестный заведующий коммунальным хозяйством города. Вышел этакий весельчак с большой шевелюрой и сверкающими глазами и без всякой шаргалки темпераментно и интересно стал рассказы-

вать о положении в городе. Потом выступал он и по другим вопросам, всегда имея свое собственное, в отличие от других, оригинальное мнение, а затем и весьма деловое предложение.

Одно событие съезда приходит на память. Происходило все это в концертном зале театра “Эстония”. Наверху на балконе, прямо над сценой, посажен был переводчик. Когда-то в кругах местной русской молодежи его звали Карлуша Крюгер. Он был гораздо старше меня. Полный, веселый человек, всегда в центре общества. Видала я его на школьных вечерах и литературных кружках. Кем он был и что делал — не знаю. Так вот бедный Карлуша Крюгер, должно быть, очень устав от непрерывного синхронного перевода, как-то вдруг утратил внимание и совершенно автоматически перевел самую невинную фразу самым роковым для себя образом. По-эстонски слово “опустите” можно перевести еще и “расстреляйте”. Карлуша при каком-то очередном голосовании предложение председателя “опустите мандаты” перевел “расстреляйте мандаты” и, как мне показалось, сам даже этого не заметил. Я взглянула на него наверх. По залу прошел шумок, а через некоторое время вместо Крюгера переводить заседание стал нарком коммунального хозяйства Алгус Раадик. О дальнейшей судьбе Крюгера я больше ничего не знаю.

На этом съезде столы для стенографисток были поставлены в зале, прижатыми к эстраде. Один для эстонских стенографисток, их было много, другой — для всего двух русских. Стенографировали мы по три минуты, сменяя друг друга. Иначе трудно выдержать все заседание. Да и вдвоем было тяжело. Учитывая эти условия, когда начиналась какая-нибудь рассчитанная на полный регламент эстонская речь, только нам двоим разрешено было садиться в первый (в основном пустой) ряд, чтобы вытянуть ноги, разогнуть спину. И вот сижу я как-то, отдыхаю. Вдруг сосед слева передает мне записку. Читаю: “Какая у вас зарплата? Переходите ко мне на работу — даю в три раза больше”. Я с недоумением на него оглянулась. Так, бесцветный военный, с непонятными для меня знаками отличия... Я, естественно, ничего не ответила. В перерыве в буфете он ко мне подошел. Представился — Лебедев. Ну Лебедев и Лебедев. Повторил свое предложение. Я категорически отказалась. Но он долго еще не давал мне покоя, звоня по домашнему телефону и, на удивление мне, всегда после двух часов ночи. Только очень нескоро я откуда-

то узнала, что Лебедев - начальник военной контрразведки. Поэтому он и звонил в это несуразное время, что жуткая его работа проходила именно ночами.

Впоследствии, насколько я знаю, деликатнейший Председатель Президиума Верховного Совета поэт Йоханнес Варес-Барбарус и такой же интеллигентный и деликатный нарком Йыеээр покончили жизнь самоубийством. Я часто думаю, что Йоханнеса Лауристина, не погибни он в Финском заливе при эвакуации в Ленинград в конце августа 1941 года, ждала та же участь. У меня сложилось впечатление, что он был человеком справедливым и совестливым, что многое было ему не по нутру, многое было ему в тягость, но он, верный идее, неукоснительно делал свое дело, нес свою ношу, хотя иногда она была ему и непосильна. Это все мои догадки. Он никогда ни словом, ни жестом не показал, что ему что-то тяжело, но ведь со временем привыкаешь к человеку, к его манере себя вести, к его повадкам, мимике и понемножку составляешь о нем представление, хочет он этого или не хочет.

Помню, как позвонил однажды зимой таллиннский архиепископ лютеранской церкви (забыла его фамилию) и попросился на прием к Председателю. Лауристин очень нехотя назначил ему встречу. Но когда епископ появился у нас в приемной и я пошла о нем доложить, мой принципал долго молча смотрел в окно (это было признаком озабоченности и недовольства), а потом, не поднимая глаз, произнес: "Скажите, что я не могу его принять, но скажите это как-нибудь помягче". Видно он, подумав, дал себе отчет в том, что ничего не сможет сделать для этого человека, а лишние, ни к чему не идущие разговоры были не в его стиле. Он был очень недоволен созданным по его вине положением, и вся эта история была для него тяжела. А бедный пожилой, очень представительный епископ, когда я вышла к нему с объяснениями, был бледен. Он все-таки спросил меня, как я думаю, стоит ли ему еще приходить. Я молча на него посмотрела. Что я могла ему сказать? Он поблагодарил, подал мне руку и удалился. Вся эта сцена еще и сегодня во всех подробностях стоит у меня перед глазами.

День Рождества 25 декабря 1940 года Эстонское правительство из гуманных соображений объявило выходным днем. Я так рассчитывала выспаться, но не тут-то было. Сразу после 9 часов

раздался звонок в нашу квартиру. Оказалось — вызывают меня. Какой-то нечесаный человек с испуганными глазами сообщил мне, что Председатель находится сейчас на важном заседании и просит меня приехать стенографировать. Пришлось одеться. Я еще забежала в свой кабинет за “орудиями производства”, и он повез меня на машине в направлении Старого города. Только когда машина остановилась перед огромным мрачным зданием НКВД, я сообразила, что стенографии, вероятно, не будет.

Меня долго водили по бесконечным коридорам, причем был случай, когда мне показалось, что здесь мы уже проходили. В конце концов мой провожатый постучал в какую-то дверь, вошел первым, отрапортовал и скрылся. В углу комнаты стоял плотный мужчина в военном френче, с полным усталым бледным лицом и типичным для всех чекистов взглядом не в глаза, а чуть выше переносицы. Он спросил меня, догадалась ли я, где нахожусь. При этом он указал мне на стул, потушил стоявшую на столе канцелярскую лампу и пустил в мою сторону ярчайший софит с рефлектором. Мне некоторое время надо было привыкать, чтобы различить, наконец, его фигуру. Да, а до того он еще сходил к двери, запер ее на ключ, а ключ сунул в карман. Садясь, он вынул из стола какое-то оружие — пистолет, наверное, и положил его справа от себя на стол. Мне стало чуть-чуть смешно. Так пускать пыль в глаза — и перед кем? — перед молоденькой девчонкой. Но в то же время внутри, конечно, все дрожало. Беседовали мы с ним часа полтора, наверное. Тут были философские отступления, патетические слова о любви к родине, вдруг ни с того ни с сего прозвучали угрозы в адрес моей семьи, а в общем хождение вокруг да около. Потом он стал рассказывать, что в этом доме знают о каждом моем шаге. А какие мои шаги? Все на территории замка. Квартира — мой кабинет. Кабинет — квартира. В доказательство своей осведомленности описал план обеих наших комнат, отметив, на каком диване спит брат, а на каком я и где у нас стоит телефон. Я долго потом ломала голову, кто из наших друзей рассказал ему об этом. Выбор был невелик. Всего два человека побывали у нас за три недели после нашего переезда. Ясно было одно — кто-то из двух попался в сети. В конце концов я с некоторым вызовом спросила, не хочет ли он мне предложить следить за моим начальством. Он категорически это отверг, сказав, что этот

вопрос его нимало не интересует. А что интересует, так и не объяснил. Теперь я вернусь на несколько дней назад. Как-то ночью мне позвонила Софья Владимировна Колзакова и сказала, что ее муж Константин Яковлевич заболел и не могу ли я ему помочь. Вся наша семья сразу поняла, о какой болезни идет речь. Мы все были потрясены. Колзаковы были всем нам, а мне в особенности, очень близкими людьми. И вот тут, сидя в НКВД, мне пришло в голову, что, может быть, это судьба и именно сегодня я смогу помочь моим друзьям. Я нашла какой-то, как мне казалось тогда, подходящий момент и высказала своему визави недоумение по поводу ареста таких достойнейших людей, как Колзаков и Гизетти. Я рассказала ему о памятной мне встрече этих двоих белых офицеров у нас дома в октябре 1939 года, когда они оба в один голос заявили, что никуда уезжать не собираются, а верят в то, что во время войны (а что она будет, никто тогда уже не сомневался) они со своими знаниями и опытом в военном деле еще послужат родине. Могу со всей искренностью сказать, что только эти две фамилии я и упомянула во время моей, по существу, единственной встречи со следователем. Я так верила тогда, что следователь, услышав это, что-то изменит в судьбе двух дорогих мне людей. Теперь, прожив долгую жизнь в Советском Союзе, я понимаю, что подобные разговоры зачастую шли только во вред заключенным. Их начинали таскать на очные ставки и вызывали в них подозрения в доносительстве друг на друга, или в доносах на них третьих лиц. Неужели они могли подумать, что это мой отец донес об их встрече у нас? Ведь к одной невинной фразе чекисты умели приплести еще десятки других далеко не невинных подробностей. Тогда же мне казалось, что я очень удачно выполнила просьбу Софьи Владимировны. Мой следователь и бровью не повел на всю мою тираду. У меня мелькнула мысль, а что если белое офицерство, как и совнаркомовское начальство, не его область. Он же, делая вид, что в нашем разговоре вообще и не было отступления, продолжал разглагольствовать дальше, так и не дав мне понять, какая же сторона жизни его интересует. Как-то вскользь промелькнула мысль, что если где-то, когда-то, будучи вне Совнаркома, я что-нибудь услышу, то будет очень хорошо, если он об этом узнает. Но ни телефона своего, ни имени он мне так и не сообщил. На мое объяснение, что я за пределы замка вообще почти не выхожу,

не говоря уже о знакомых, но и в магазинах не бываю, он не реагировал. Сказал, что как-нибудь мне еще позвонит и назовется Леонидом. Дома я никому ничего не сказала, а варилась в собственном соку, никак не понимая, чего же он от меня хотел. Через месяц, а может быть, через два, он действительно позвонил в воскресенье и назначил мне свидание на Ратушной площади. Инструкции были таковы: увидя его, к нему не подходить, сесть в один с ним автобус, тогда остановка была на середине площади, и выйти там, где выйдет он. Все это я выполнила, и мы оказались где-то в районе Пельгулина. Вошли в деревянный дом, и он своим ключом открыл дверь квартиры налево. Квартира была темная, мрачная, плохо обставленная. Он ввел меня в комнату, где сидел еще один деятель, сказал — «вы тут поговорите», а сам вышел. Человек этот в военной форме внешне выглядел прилично, но, Боже мой, что же оказалось, когда он открыл рот. Он просто не умел говорить. Ни одной законченной мысли не прозвучало. Что-то он тянул, какие-то фразы без начала и конца, а главное — без всякого смысла. Какой-то поток невнятицы. Из всей нашей беседы я ничего не уразумела. Леонид больше не показался, а тип этот скоро меня отпустил, так и не намекнув даже, зачем я здесь появлялась. У меня сложилось впечатление, что он в этом деле новичок, что он ничего не понял из наставлений Леонида и не знал, о чем и что ему надо говорить. Все время, что я там была, разглагольствовал он, а я изредка поддакивала. По моим же представлениям, чекист должен вызывать на разговор, самому же ему положено помалкивать. Во всяком случае, эта встреча меня окончательно успокоила. Невелика, значит, я птица, если меня дадут в обработку этому неумехе.

В третий раз Леонида я услышала по телефону уже после начала войны. Он, как-то ничуть не камуфлируя своей речи, сказал, что им нужны места явок для подпольной деятельности в Таллинне при немцах. Им уже ясно было, что Таллинн будет сдан. Он обещал снова позвонить. Брат мой уже ушел в армию, а у меня остался ключ от маленькой фирмы «Эскалин», которую он, лишившись основной работы в акционерном обществе, ликвидировал, но не довел это дело до конца. «Эскалин» находился на улице Лай напротив кондитерской. На другой день Леонид снова позвонил, и мы с ним пошли смотреть помещение. Как я и предполагала, он сразу от него отка-

зался, сказав, что немцы поставят свою полицию туда же, на Пагари, где сейчас НКВД, а это слишком близко. Здесь будет кишмя кишеть полицией. Нужно место более отдаленное. С тех пор я Леонида больше не видала и не слыхала.

Теперь через столько лет, что называется с птичьего полета, я додумалась, что значила вся эта непонятная эпопея с НКВД. У моего Председателя было два личных охранника, они работали по очереди, никогда не выпуская его из поля зрения. Оба были русскими простыми парнями, ходили в штатском. Понемногу я стала замечать, что, сидя у меня, под дверью кабинета Лауристина, они частенько пишут какие-то длинные реляции. Однажды, когда Председатель вышел неожиданно и очень куда-то заторопился, охранник оставил впопыхах недописанную бумагу на столе, и мы с моим приятелем Ило Аннусом, секретарем заместителя, согрешили и заглянули. Оказалась эта бумага полным подробнейшим отчетом обо всем и вся, что делается вокруг, и о нас в том числе. Что они оба были работниками НКВД, нам и раньше было ясно, но что мы в числе объектов их наблюдений, мы не догадывались.

Потом я еще как-то раз, быстро войдя в комнату, услышала, как один из охранников очень бойко изъясняется по телефону по-эстонски. Хорошо еще, что мы с Ило до того ни разу не позволили себе сказать при нем что-то неподобающее. Тут уж мы серьезно насторожились. Они оба делали перед нами вид, что эстонского не знают ни в малейшей степени. Так вот, я думаю, что Леонид действительно намеревался меня использовать в своих целях, но Совнарком, как он сам признался, являлся не его областью, а мое утверждение, что я практически не бываю в городе, он потом легко проверил у этих двух соглядатаев, которые волей-неволей не спускали с меня глаз и точно знали, когда я приходила и когда, совершенно вымотанная, уходила домой, способная только спать. Нам, конечно, в большую тягость было постоянное присутствие этих людей в нашей рабочей комнате, но, как говорится, не было бы счастья, так несчастье помогло. Может быть, именно они помогли мне в этом деле.

Как-то, наверное, в январе 1941 года в Москву в Госплан, если не ошибаюсь, с проектом бюджета собралась представительная делегация во главе с председателем Госплана Сепре. На месте предполагались какие-то изменения и перестановки в тексте, и на этот слу-

чай, что называется, наподхват, взяли и меня. Мне смутно вспоминается, что и Лауристин ехал с нами, но не помню его ни в поезде, ни в Москве. Судя по вагону, который нам дали, это так. Вагон этот поразил бы всякого. Половину его занимала комната для совещаний — круглый стол посередине и привинченные к полу кресла вокруг. Все из красного дерева. Шептались, что это бывший царский вагон. Дальше шли уже спальные купе. Ехали ночь до Ленинграда, и таково уж было расписание поездов Таллинн — Москва, что день проводили в Ленинграде, а вечером отбывали тем же вагоном на Москву. Я, имея заднюю мысль, от общей прогулки отказалась и поехала по единственному имевшемуся у меня адресу некоей старушки, которая могла вывести на моих родственников.

С ними мы, естественно, 20 лет не переписывались. В Ленинграде у меня был брат — мамин старший сын от первого брака — Николай Борисович Андреев, был и родной дядя и мой крестный отец, брат моей матери Георгий Петрович Блок. Судьбы обоих достаточно своеобразны, и о них следует рассказать. Брат мой был старше меня на 19 лет. Он успел закончить самое привилегированное учебное заведение — Лицей. С приходом Советской власти ушел в Красную Армию, а мы в это время уехали из Петрограда под Лугу, а оттуда уже бежали в Эстонию. Брат был очень способным человеком, знал все подобающие для его образования языки и был принят на работу в Академию наук — не больше не меньше как ученым секретарем. Работал хорошо, и все шло гладко. В 1927 году его посылают в командировку в Париж. Часть пути он едет почему-то пароходом, а в Таллинне должен по расписанию задержаться на один день. И вот с совершенно чуждым его характеру легкомыслием он посылает маме телеграмму о своем проезде через наш город с просьбой прийти к нему в гостиницу “Золотой Лев”. Мама приходит и проводит с любимым сыном последний в их жизни общий день. Вечером он уезжает. В Париже все протекает успешно, а по возвращении в Академию брата вызывают в отдел кадров и сообщают, что он уволен, во-первых, потому, что скрыл в анкете существование родственников за границей, и во-вторых, — что позволил себе встретиться там с матерью. Вот и завершилась его карьера, и он стал работать экономистом на заводе. Хорошо, что еще так; могло кончиться гораздо хуже. Позже он рассказывал, что Президент Академии за него тогда заступился.

А дядя мой тоже был лицеистом, только старшего поколения. В начале 1920-х годов не было еще особенной слежки, и лицеисты позволяли себе отмечать свой день 19 октября. Отметили и на этот раз, если не ошибаюсь, это был 1922 год. А через несколько дней в парижской русской газете была напечатана заметка, что вот не только мы здесь отмечаем свой праздник, но и наши петроградские однокашники собрались, как всегда, в церкви на молебен, а потом отметили этот высокаторжественный день общим обедом. В ближайшую же ночь все эти лицеисты были в Петрограде арестованы. Дядя сначала был приговорен к высшей мере наказания, год просидел в одиночке, а потом эта мера была заменена на ссылку. Он впоследствии объяснял мне это удивительное смягчение приговора не только тем, что за него хлопотали родные (в начале двадцатых годов подобное еще случалось), но главным для него было такое событие. Как-то ночью в своей одиночке он услышал во сне голос: “Молись святому Нилу Столобенскому!” Дядя мой никогда до тех пор не слышал о таком святом. Но послушно стал обращаться и к нему в своих молитвах. Уже будучи в ссылке, он в письмах просил друзей узнать, есть ли такой святой на Руси. И ему подтвердили, что да, в XVI веке жил на озере Селигер такой святой столпник. Там, где протекала его подвижническая жизнь, позднее был основан монастырь Нилова пустынь. Мотался Георгий Петрович по ссылкам (к счастью, с семьей — у него была жена и 3 дочери) до 1945 года, когда с него сняли судимость и разрешили жить в столицах. А ведь он все эти долгие годы должен был еще и семью кормить. Иногда вблизи места его ссылки попадалось какое-нибудь предприятие, и он устраивался на нем юрисконсультom, а кроме того, его коллеги — он до ареста тоже работал в Академии наук — проявляли большую заботу, связанную для них с риском, посылали ему куда-нибудь под Соликамск переводы. Целые книги. И он переводил и с французского, и с немецкого, и эти гонорары помогли семье выжить.

Так вот я решила сделать маме подарок и встретиться с ее сыном и братом, благо до нас дошли слухи, что дядино последнее уже совсем мягкое место ссылки — станция Малая Вишера в Новгородской области, — и якобы дядя нелегально навещается иногда в Ленинград.

Старушка дала мне единственный имевшийся у нее адрес сестры моего отца Ольги Владимировны. Но тетка сразу же мне заявила, что ни дяди, ни брата в городе нет — она это знает твердо. Все мои просьбы проверить это по телефону остались тщетными. Полной уверенности, что она говорит правду, у меня не было. Папина сестра показала мне большую дядину фотографию. Я долго упрашивала дать мне ее для мамы. Она в конце концов согласилась, но потребовала с меня обещание, что мама посмотрит и сразу ее уничтожит. Передавая маме карточку ее брата, я рассказала ей о просьбе тетки. Когда моя мама умерла, я нашла в ее сумочке вырезанные из фотографии глаза моего дяди. Она с ними никогда не расставалась.

А вот к маминому кузену Николаю Николаевичу Качалову — будущему члену-корреспонденту Академии наук СССР, тетя мне пойти разрешила. Кстати, о нем и его жене много пишет в своих воспоминаниях Галина Уланова, называя их дом тем источником культуры, из которого она черпала и черпала долгие годы все то, что так необходимо было ей в ее искусстве.

Николай Николаевич встретил меня ласково, расспрашивал о маме, о всей нашей семье, а когда очередь дошла до меня, он сказал мне памятные слова: “Прошу тебя, не взлетай высоко — рано или поздно придется падать. Помни это и лучше поберегись высоты”. Никто из нас тогда не догадывался, что для взлетов нам всем осталось полгода.

Уже через много лет я узнала и от дяди моего Блока и от брата, что оба они были в этот день в Ленинграде, что тетка к вечеру преодолела свой страх и позвонила им обоим по телефону. Они поехали на Московский вокзал к поезду. Бегали из вагона в вагон, громко выкрикивая мое имя, ведь в лицо они меня не знали, а я сидела в это время в правительственном вагоне, куда их, разумеется, не пустили.

В Москве мы все остановились в Эстонском постпредстве. Первым, кого я там увидела, был мой одноклассник Саша Шахура; к тому времени мы уже давно потеряли его из виду. Он заслуживает того, чтобы о нем написать. В школе был он отъявленным хулиганом. Но один случай резко изменил наше к нему отношение. Учились мы отдельно от мальчиков. Случилось это, наверное, в III классе гимназии. Шел урок географии. Восемь часов утра, на улице темень, заниматься не хочется. Вдруг открывается дверь, в класс вхо-

дит высокий худой человек с бледным лицом в низко надвинутой на глаза фетровой шляпе. Он поворачивается в нашу сторону, настораживающе поднимает палец, сует руку в карман, и в руке у него оказывается револьвер. Он начинает целиться в нашего учителя Ивана Ивановича Ларионова. Тот реагирует с необычайной скоростью: нам кричит — “Все под парты!”, а сам молниеносно ставит свой стол дыбом и прячется за него. Сразу за этим он дает нам команду: “Всем кричать!”. Мы сидим на корточках под партами и кричим. Парты сквозные, и мы видим, как человек у дверей нажимает на курок, целясь в то место, где должен быть учитель. Осечка. Он снова нажимает на курок — и снова осечка. А мы все кричим. Тогда он поворачивается к нам и начинает водить револьвером вдоль наших рядов. В это время рывком открывается дверь за его спиной. Он оборачивается, и болтавшийся без дела по коридорам небольшого росточка Саша Шахура, ни секунды не задумываясь, бьет его сильным ударом по запястью, револьвер падает, Саша его хватает, прячет в карман и, держа нашего “гостя” за обе руки, выводит его в коридор. Тут уже сбегаются на крики люди. Злодея окружают, а наш спаситель, несколько бравируя, вынимает револьвер из кармана и, целясь в какой-то портрет, нажимает на курок. Раздается выстрел. В портрете дырка. Человека этого уводят. Нас отпускают по домам. А Саша Шахура делается, правда, на очень короткое время, героем дня. Позднее посягатель на наши жизни, некий Кютверк, признается судом невменяемым.

Так вот именно этого Сашу я и встречаю в Эстонском постпредстве. Он занимает здесь должность заведующего хозяйственной частью. Остаемся в Москве мы дня на четыре, работаю я только по вечерам, и все это время Саша, хотя мы никогда с ним и двух слов не сказали, достает нам обоим билеты во МХАТ на “Анну Каренину”, заботится обо мне, как о родной. Стоят тридцатиградусные морозы, а я в низких калошках. Он показывает мне город. Мы передвигаемся с ним по Москве короткими перебежками, и он меня снова и снова отогревает продающимся на каждом углу горячим красным вином — грогом. Этим я действительно спаслась от простуды. Но главным во всем этом была та бережная забота и внимание, которыми он меня окружил. Вечная ему память, милому храброму Саше. Он погиб на фронте в Отечественную войну.

На третьем этаже таллиннского замка у нас был устроен красный уголок. Не помню, на какой именно праздник, но кто-то поджег стоявшее там знамя Совнаркома. Как на это наткнулись — не знаю. Не помню ни дыма, ни шума. А сразу после этого пропал из нашего дома молодой работник социального отдела (по-моему, его звали Мяги). Больше мы его не видели. Надо сказать, что партийной и профсоюзной жизни я за весь год так в нашем коллективе и не заметила. Правда, на День женщины я получила единственную в моей жизни премию в размере 150 рублей. Зарплата моя составляла 600. Лауристин в Совнаркоме получал 2000.

Как-то уже весной 1941 года ко мне пришел наш парторг — работник военного отдела, скромный, даже застенчивый капитан Лаази. Или он потом уж, с реформой Красной Армии, стал капитаном? В те времена во всех этих шпалах на их военных мундирах я совершенно не разбиралась. После войны читала, что в боях Лаази проявил себя хладнокровным смелым офицером. Как было сказано в воспоминаниях некоего военачальника, он был одним из лучших стрелков среди эстонцев. Так вот этот самый Лаази предложил мне подать заявление о приеме в партию. Я сказала то, что говорили миллионы людей, попавшие в такое же положение. Сказала, что не подготовлена, что прежде чем поступать, надо изучить историю партии, что у меня пока нет для этого времени. Он, конечно, знал о моей нагрузке. Известно, что Сталин работал регулярно до двух часов ночи, и этого придерживались все ответственные работники страны. Лауристина работа тоже часто вынуждала засиживаться за полночь, а меня такой длинный рабочий день даже устраивал. С посетителями и звонками трудно было заняться текущими делами. А их скапливалось немало. Как-то Председатель попросил меня подготовить материалы для его выступления — не помню уже где. Походила я по нашим отделам и поняла, что они не очень-то мне могут помочь. Пошла в Госплан, благо, он размещался в другом крыле замка. Там были два толковейших человека, к которым я зачастую обращалась за справками. Один из них, Раннес, работал в отделе промышленности. Впоследствии я читала в эстонских газетах, что он стал весьма чтимым профессором, кажется, Политехнического института. К сожалению, не помню фамилии второго — он занимался сельским хозяйством — знал свое дело отлично, высокий,

уже немолодой в те годы человек. Они оба были какие-то веселые, легкие в общении и всегда донельзя любезные. Оба подготовили отличные материалы, а по вопросам культуры и образования я уговорила написать что-нибудь нашего управделами. Помню, он так расписался, радуясь возможности окунуться в близкий ему мир, что потом многое, хоть и очень интересное, пришлось вычеркнуть. Написала я все это, чтобы дать представление, как в те времена готовились речи больших начальников.

На лето 1941 года мы с братом наняли в основном для родителей дачу на Меривялья под Таллинном. В воскресенье 22 июня кто-то приехал из города и сообщил о начале войны. Утром мы, как и всегда, поехали на работу. В первый и в последний раз после этого я побывала на даче в ночь с 8 на 9 июля. Да, а в тот понедельник в замке царила атмосфера не паники, но страшной тревоги. Обстановка менялась каждый день. Был создан Государственный Комитет Оборона, возглавил который Лауристин. Комитет разместили в бомбоубежище замка. Часть работников канцелярии скоро разбежалась, остальную часть распустили.

Началась эвакуация. Все наркомы отправили свои семьи в глубь Союза. Уехала и Ли Оямаа. Я эвакуироваться отказалась. Тут же меня вызвал к себе целый синклит наркомов. Были там и оба зама Лауристина. Все они стали требовать, чтобы я уезжала. Я объясняла, что брат мой со дня на день будет мобилизован и я остаюсь единственной кормилицей родителей. Они оба престарелые больные люди и уезжать отказываются категорически — папа считает, что если мы сдвинемся с места, то на огромных просторах Союза уже не найдем его любимого сына. Натиск на меня был тяжелейший. Все сидевшие напротив за столом утверждали, что с приходом немцев я буду сразу арестована. Мои отказы и даже слезы ни к чему не привели. Кресс дал приказ эвакуироваться — и точка. Я была тут же отправлена к кассиру Совнаркома Тедеру, который выдал мне на эвакуацию месячный оклад и пару высоких сапог.

На другой день я каким-то чудом впервые после создания Комитета Оборона встретила на лестнице Лауристина и неожиданно для самой себя обратилась к нему со словами, что я никогда его ни о чем не просила, а сейчас прошу. И рассказала о вчерашнем разговоре. “Разрешите мне остаться”, — были мои последние слова. Он

постоял, подумал, сказал только одно слово “оставайтесь” и пошел по лестнице вверх. Больше я его никогда не видела. Только один раз говорила по телефону. Но об этом потом. Я тут же побежала в кассу и вернула тому же Тедеру и деньги, и сапоги, конечно, не попросив расписку в получении. Эта оплошность сыграла в дальнейшем немаловажную роль в моей жизни.

Между тем была создана эвакуационная комиссия. Она была разделена на две части. Одной, имущественной, командовал Арнольд Веймер из своего бывшего Наркомата промышленности. Другой, которая занималась эвакуацией населения, — бывший нарком коммунального хозяйства Алгус Раадик. Поскольку моя должность при Председателе СНК с его уходом в Комитет Оборона была упразднена, меня назначили секретарем эвакуационной комиссии к Алгусу Раадику. Я работала в замке в своем бывшем кабинете. Мы должны были эвакуировать всех жителей Эстонии, желавших переехать в глубь Советского Союза.

К нам прямо хлынул поток списков, составленных на предприятиях, и заявлений частных лиц с просьбой об эвакуации. Это были в первую очередь тысячи евреев — у них действительно горела земля под ногами. Уезжало множество русских, не только недавно приехавших, но и коренных таллиннцев. Перебирая и оформляя документы, я то и дело натыкалась на знакомые фамилии. Поступки некоторых казались совершенно нелогичными. Помню, поразило меня заявление от семьи близкого моего знакомого, уехавшего в начале 1940 года в Германию. Теперь его жена и сын уезжали на восток. Работали мы с Раадиком практически вдвоем. Он занимался заказом поездов, как мы называли — эшелонов, разрабатывал маршрут, думал о продовольствии. Я занималась только людьми. Уезжавшему следовало выдать отдельное эвакуационное удостоверение на руки и те же данные скрупулезно внести в большие списки эшелонов. Это были огромные простыни. Каждое удостоверение, каждый лист должны были быть снабжены печатью и подписью Раадика. Еще в каждый эшелон следовало назначить коменданта из числа эвакуируемых и снабдить его бумагой, подтверждающей его довольно большие полномочия. Я попросила уже свертывающие свою деятельность наркоматы прислать мне по два человека в помощь. В первый день пришло 20 человек — все разместились в моем каби-

нете и старательно работали. На другой день пришло трое. На третий всего один человек. Потом пропал и он. А мы отправляли и отправляли эшелоны.

Я перестала ходить на ночь домой, а изредка ложилась чуть-чуть прикорнуть то в одном кабинете, то в другом, благо все они уже пустовали. А заявления все шли и шли. Помню, как уже к концу этой изматывавшей работы мы горячо что-то обсуждали во временном кабинете Раадика и я, совсем уже одуревшая, вместо того чтобы сесть на стул, села на угол стола. В это время вошел секретарь ЦК Паук. Он в недоумении посмотрел на меня и сделал мне резкое замечание. Я ведь даже при виде его не соскочила со стола. Раадик за меня заступился.

— Оставь ее, она не спит уже шестые сутки, понимаешь, шестые сутки и ни одной минуты сна. — Раадик именно в предыдущую ночь приказал мне лечь в соседней комнате на диван и спать, а он будет работать и принимать телефоны. Еще только чуть задремав, я очнулась оттого, что одновременно трезвонят несколько аппаратов. Поднявшись, увидела, что Раадик спит, положив голову на стол. Повернув все телефоны в другую сторону, я села против него и в таком неудобном положении проработала остаток ночи. Совесть, как видно, его несколько мучила.

Паук, которого я видела в первый раз, тоже был из числа тех, кто отсидел на Батарейной 10 лет. Он, наверное, был добрым человеком. Во всяком случае в тот же вечер, это было 8 июля, мне был отдан приказ взять машину и ехать на дачу выспаться. Я позвонила на работу брату и предложила за ним заехать. Заодно он погрузил в автомобиль все закупленные за это время впрок продукты — макароны, сахар, муку и т.д., и мы поехали на Меривялья. Спала я как убитая, машина за мной почему-то не пришла, и светлым солнечным утром 9 июля мы двинулись с братом в город. Никакого движения на шоссе не было. Цвел жасмин, море сверкало, стояла тишина, и казалось, что вся земля купается в солнце и мире. Но вот навстречу попался офицер без фуражки, без ремня — он не был пьян, он был предельно растерян, и глаза его бессмысленно блуждали. Невольно мы прибавили шаг.

Я пошла наверх на Вышгород, брат к себе в “Эскалин”. Подходя к воротам замка, я с удивлением заметила, что у входа нет охраны. Дальше — больше. Вхожу во двор, а там где вчера вдоль всех стен,

под укрытием этих стен, стояли легковые машины, подготовленные для эвакуации оставшихся в замке сотрудников, — там пустота. Вхожу в здание. Внутренней охраны нет. Иду наверх — ни души. Сажусь работать — у меня еще весь последний эшелон не оформлен. Судорожно пишу удостоверения, составляю списки. Работаю, как машина, ни о чем другом не думая. Но вот начинаются звонки. Эшелон, уже целиком загруженный людьми, стоит на станции Юлемисте — это на окраине Таллинна. Они ждут документов, чтобы отправляться. Их время от времени пытаются бомбить немцы. Они волнуются, плачут, молят. Я обещаю, что скоро, а сама все пишу и пишу. В середине дня решаю, что надо пойти поесть. Иду через весь Совнарком на кухню. Везде пустота. Вхожу в столовую. Она связана с кухней раздвижными дверями. С трудом раздвигаю тугие двери, и предо мной открывается картина. Посередине кухни прямо на полу насыпана куча сахарного песка приблизительно в метр вышиной. Над кучей этой стоят два наших бывших работника, которых давно уже не было видно. Из отдела сельского хозяйства и промышленности. Каждый из них глубокой тарелкой черпает из кучи сахар и сыплет в большой полотняный мешок. Я молча закрываю дверь и ухожу к себе в кабинет.

Телефоны звонят. Я пишу. Где-то к концу рабочего дня кончаю. На столе больше нет ни одного неисполненного заявления. Эшелон может уходить. Но нужны печати и подпись Раадика. А Раадик, я понимаю, уехал так же, как уехали и все остальные. Одна надежда на Комитет Оборон. Звоню Лауристину. Он у телефона. Рассказываю о моей проблеме. Он спрашивает: а кто, кроме вас, там наверху еще есть? — Я одна. — Хорошо, говорит он. — Подписывайте все удостоверения и списки сами, а я сейчас пришлю к вам Эйсена. Он подпишет тоже и поставит печать. Я вам дам машину, и вы поедете на Юлемисте. — Приходит наш бывший совнаркомский начальник кадров, а теперь член Комитета Оборон Эйзен. На его щуплой маленькой фигуре совсем не угрожающе выглядят пулеметные ленты и револьвер. Он садится напротив и подписывает за мной все бумаги. Потом мы ставим печать Комитета Оборон. Он уходит, а мне остается все пересчитать, сверить со списками — и в путь.

Тут раздастся телефонный звонок из маленького городка под Таллинном Пайде. Звонит Раадик. Спрашивает, в каком положении дело с эшелон. Я говорю, что сейчас еду. И тут, совершенно нео-

жиданно, он начинает умолять. Только не уезжать без него. Он должен всюду поставить свою подпись. Если эшелон уйдет без его подписей, он попадет под военно-полевой суд. — Нельзя задерживать эшелон. Их могут разбомбить. — Умоляю, я буду через 40 минут. — Я жду. Но ведь потом он еще все будет подписывать, и потом нам еще ехать. Когда-то мы там будем? С Юлемисте все звонят и звонят... Наконец он приезжает. На нем нет лица. Он какой-то мокро-серый. Подписывает. Я ставлю всюду нашу печать. Едем.

На станции Юлемисте машину встречают с восторженной благодарностью. Большинство уезжающих выскакивают из вагонов, плотной толпой окружают нас. Некоторые со слезами на глазах. Знают ли они, что скрывается за этим страшным для них днем, проведенным на запасных путях. В это время немцы вышли в Мярьямаа на прямую дорогу к Таллинну и находились в нескольких десятках километрах. Никакого противостояния на их пути не было. Забегая вперед, скажу, что эшелон этот дошел до цели, правда, по слухам, не раз уже на территории России всем приходилось выбегать из поезда и прятаться в кустах или просто ложиться в поле. Немецкие бомбардировщики показывались в небе. Кто тогда мог предполагать, что бои за Таллинн продлятся еще полтора месяца.

Раадик прячет глаза и торопит меня с выбором коменданта. Скорее уехать, чтобы кто-нибудь не призвал его к ответу — где же он был, председатель комиссии, весь этот решающий для сотен и сотен людей день. Утвердив комендантом П.Е.Дезена и передав ему все документы, мы уезжаем. По дороге Раадик очень неохотно в двух словах объясняет мне, что вчера после моего отъезда на дачу пришло сообщение (от кого, откуда — он не говорит), что немцы на подступах к Таллинну и все, подлежащие эвакуации, должны город покинуть. Все, за исключением членов Комитета Оборона, расселись по машинам и уехали. Но наутро в Нарве они были остановлены, и по прямому проводу из Ленинграда самые высокие чины высказали им в сильных выражениях все, что они думают об этом бегстве. Им было приказано молниеносно оказаться в Таллинне и дальше выполнять свой долг. Надо думать, что этим высшим чином был сам Жданов. Но это мои домыслы. Никто мне этого не говорил. Раадик категорически отказывается ехать в замок, который не охраняем. Нам следует прибыть в здание Президиума Верховного Совета, что в парке Кадриорг.

Уже поздно. Здание погружено во тьму. Ведь идет война. Всюду

затемнение. По темным коридорам меня ведут в зал, где ночуют какие-то женщины. Их много. Спят все на полу. Потом я догадываюсь, что здесь сосредоточены все, кто из-за неотложной работы еще не эвакуированы из Эстонии. Я оказываюсь рядом со своей бывшей соученицей по гимназии — Ниной Паркерман. Узнаем друг друга только по голосам. Обмениваемся новостями. Как странно складываются судьбы человеческие. Через несколько лет Нина, вернувшись из эвакуации, выйдет замуж за выпускника нашей же гимназии художника Пиллера. Пиллер фон Пильхау — настоящая его фамилия. А дальше они мирно живут в Таллинне, где он становится одним из ведущих художников Эстонии. Сестра же его еще до 1939 года выходит замуж за работника Тартуского банка Скрибановича и уезжает с ним в Германию.

Да, а пока я, лежа на полу, размышляю о том, что в любую минуту нас могут поднять, рассадить по машинам и увезти в единственно возможном направлении — на восток. Что же будут делать мои бедные родители? К счастью, ночь проходит спокойно, и рано утром мы с Раадиком едем на Вышгород. Там произошло уже чудесное превращение. У всех дверей стоит охрана. Все кабинеты вычищены. Вся передвинутая мебель расставлена по своим местам. Работает кухня и столовая. По коридорам из кабинета в кабинет переходят с самым невинным видом вчерашние беглецы. Единственное изменение — стоит жара, и на них на всех одноцветные, почему-то голубые рубашки. Скорее всего, их багаж отстал, и нарком местной промышленности Зауэр одел их в то, что было под рукой в его необъятных складах. О вчерашнем дне никто не упоминает ни слова. Да был ли он вообще — этот день?

Я совершенно не помню, чем мы занимались в последующее время. Может быть, заведовали сооружением обороны вокруг города или, во всяком случае, имели к этому отношение. К нам почти ежедневно заезжал Иоханнес Хинт — мы даже перешли с ним на ты. Правда, он иначе как на ты, по-моему, и не умел говорить, всегда торопясь, всегда на бегу. А ему ведь было поручено строительство оборонного кольца. Помню, что я продолжала жить в замке, что работа была уже менее напряженная. Помню, как 21 июля мы с родителями провожали на призывном пункте брата на войну. Вижу, как отец Георга Отса оперный певец Карл Отс стоит посередине двора на улице Уус в типичной для него позе — широко расставив ноги — и, как всегда, замечательно поет, на этот раз в честь новобран-

цев. Может быть, в этой же толпе был тогда и его сын?

В начале августа, сильно простудившись, я заболела. Смутно видится, что за мной приехала вызванная кем-то мама и, закутав меня в ватное совнаркомовское одеяло, отвезла на нашу уже новую квартиру на улице Вейценберга. Это мой брат перед уходом в армию, понимая, что нам не жить уже в замке, договорился со знакомым евреем, уезжавшим в эвакуацию, что тот отдаст ему перед отъездом ключи от своей квартиры. Они условились, что когда хозяева вернутся из эвакуации, мы либо освободим квартиру, либо отдадим им две комнаты из четырех. Кстати, так это впоследствии и случилось. Как сильна была вера, что Россия победит и все вернется.

Больше я в замке уже не бывала. Мне прислали оттуда врача — заместителя наркома здравоохранения доктора Таре. Других врачей в их распоряжении уже не было. По профессии он был ларингологом — это именно то, что мне было нужно. Разве это не судьба? Что бы без него со мной стало? Он выдал мне больничный лист, который до сегодняшнего дня у меня зачем-то хранится. Врачом он оказался самоотверженным. Взяв у мамы огромный, прямо амбарный ключ от нижней двери, он поздними вечерами, имея пропуск для передвижения во время комендантского часа, пешком приходил ко мне в Кадриорг множество раз, сначала следя за ходом болезни, а потом уже, чтобы своими весьма неприятными инструментами каждый раз заново долбить мне через нос кость придаточных полостей и выкачивать из них по полстакана какой-то гадости.

Надо отдать ему справедливость, он очень рисковал, совершая эти прогулки, так как к тому времени, не желая эвакуироваться, уже скрывался от властей. Но долг врача был сильнее страха. Так в Советский Союз он и не уехал, оказался в какой-то момент в Швеции, а потом вернулся в Эстонию. Мы во время оккупации с ним встречались при очень грустных обстоятельствах. Об этом я расскажу позднее.

Оправилась я от своей болезни, и то не совсем, только уже к трагическим дням боев за Таллинн, которые мы провели в подвале нашего нового обиталища — двухэтажного деревянного дома в Кадриорге. А за его стенами со страшным гулом и грохотом летели с горы Ласнамяэ вдоль нашей улицы артиллерийские снаряды. 28 августа Таллинн был взят германской армией.

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ

Таллинн взят. Выходим из нашего укрытия. В городе стоит необыкновенная жуткая тишина. На улице Вейценберга ни души, не говоря уже о транспорте. Да какой там транспорт. Напротив дома номер 8 вся улица перегорожена. Это баррикада, которая отнюдь не помешала войти немцам в город. Баррикада сложена из огромных тяжелых шпал. Мы с нашей дворничихой, с которой успели за дни осады сдружиться, решаем, что нельзя терять такой возможности — раздобыть дрова на зиму — и начинаем с невероятным трудом таскать эти шпалы к себе во двор. Успеваем набрать уже порядочно, когда к нам присоединяются люди из соседних домов, и тут уже баррикада тает на глазах. Начинается жизнь на подножном корму. Магазины закрыты, снабжения никакого. Мы едим макароны и какао-вый кисель. Это продукты, припасенные братом. Понемногу, понемногу начинают выдавать какие-то талоны, открываются пункты распределения, но все это потом. А пока что на третий день папа решает идти пешком на дачу, заpastись там молоком, яйцами и заодно посмотреть, что стало с нашей дачей и ее хозяевами.

Вокруг города стоят немецкие патрули, но он старый человек, и его после долгих объяснений пропускают. Он приходит, открывает дверь и останавливается на пороге. Все шкафы раскрыты, вещи вывалены на пол, между платьями, посудой и продуктами валяются граммофонные пластинки, любимое сокровище брата; они все передавлены и разбиты. От хозяев дачи папа узнает, что сначала в дом зашли советские солдаты, в ужасе торопливо искавшие штатскую одежду. Никто не собирал их, чтобы эвакуировать. Они были пре-

доставлены самим себе, и каждый пытался спастись, как мог. Было жарко, и они от нескольких костюмов брата забрали только брюки и, конечно, рубашки, и еще мужскую обувь. Больше их ничто не интересовало, и комнаты остались после них в порядке. Зато на другой день приехали немцы. Их привез какой-то эстонец, и из их разговора хозяева поняли, что это был шофер, который меня единственный раз сюда привозил в ночь с 8-го на 9 июля. Он объяснял немцам, что я в сопровождении какого-то мужчины (брата) привезла сюда большое количество пакетов, скорее всего архивов НКВД, потому что шофер отвез меня сначала на улицу Лай, где к нам присоединился мужчина, вынесший к машине хорошо запакованные пакеты. (Это мой брат, как я уже писала, зная, что он будет мобилизован, и боясь за нас, старался обеспечить нас всем, что можно было еще достать из продуктов). Немцы долго искали архивы, вытряхивая все из шкафов и лазая на чердак и в подвал, а потом сели за стол, стали есть то, что было съедобным и запивать какими-то запасами брата. Все это под звуки музыки. Ставили граммофон, который потом сломали. Нашли они мой крест и кольцо. Забрали золото себе, выковырив предварительно камушек из кольца. Хозяев они пригласили в качестве свидетелей, когда уходили. Это был мой первый обыск. С этого началась моя эпопея с полицией СД.

Через некоторое время ко мне пришел очень вежливый и воспитанный молодой эстонец в штатском. Он представился как следователь полиции. Мы с ним посидели недолго, и он пригласил меня на другой день к себе в кабинет в здание СД около Карловской церкви. Там я в течение зимы бывала у него несколько раз. Мне инкриминировали, что я была партийной деятельницей и выступала с призывами на партийных собраниях. Что я стремилась эвакуироваться, то есть бежать от ответственности за свои преступления и только случайно осталась. Что я постоянно разъезжала с Лауристином и другими высокопоставленными лицами на машинах. И наконец, что я как крупный деятель партии жила в самом замке.

Все это я могла легко опровергнуть, что и делала из раза в раз. Каждый допрос начинался с одного и того же. Следователю нужны были доказательства. Только по делу о казенной квартире у меня сохранился документ, где управделами Совнаркома Оямаа просила КЭЧ КБФ приостановить выселение нашей семьи из их дома, по-

сколько мне выделяется квартира. Меня действительно принуждали эвакуироваться, чему я упорно сопротивлялась, и когда Лауристин лично разрешил мне остаться, я сразу сдала выданные мне на эвакуацию 600 рублей и высокие сапоги. Но ведь я тогда не сообразила взять от нашего кассира Тедера расписку, а теперь следователь показал мне его донос, где он черным по белому писал, что собственноручно выдал мне деньги на эвакуацию и эти несчастные сапоги. Думаю, что следователь вызвал его впоследствии и прижал как следует. Во всяком случае, это обвинение о моей эвакуации больше не звучало.

Все остальные обвинения исходили в основном тоже от Тедера. Забегая вперед и для характеристики человека расскажу один эпизод уже из времен послевоенных. Мы приехали с мужем в Таллинн к папе и брату встречать у них новый, 1948 год. В день отъезда попался нам на улице навстречу ничуть не изменившийся Тедер. Он меня заметил. “Как хорошо, что мы сегодня уезжаем, — сказала я мужу, — а то были бы большие осложнения”. И как в воду глядела. Брат, приехавший вскоре в Ригу в командировку, рассказал, что через несколько дней после нашего отъезда приходил какой-то тип из НКВД — искал меня. Мы жили в разных республиках, и они по линии НКВД как-то мало интересовались делами друг друга. Во всяком случае, запроса обо мне в Ригу не последовало. Факт остается фактом. Тедер доносил при всех режимах, хотя работая в 1940/41 гг. в одном здании, мы с ним даже никогда не разговаривали.

Но вернемся назад в немецкие времена. Думаю, что наши шоферы рассказали в свою очередь следователю, что я никогда ни с Лауристином, ни с другими наркомаами не ездила в одной машине. Каждый из оставшихся в Таллинне наших работников мог подтвердить, что ни в какой партии я не состояла и речей не произносила. Но все это требовало времени. По ходу дела следователь показывал мне обвинительные документы. Думаю, что делать этого не полагалось, но у меня создалось впечатление, что ему никак не хотелось губить свою эстонскую гражданку. Жаль было отправлять ее в лагерь. Поэтому он в какой-то мере даже помогал мне выпутываться. Увидя раз документ, я уже знала, что и кого надо опровергать. Первым доносом было письменное сообщение шофера о перевозке архива. Вторым поступило письмо кассира. Третий донос, очень для

меня неожиданный, был от нашего работника Эско, называвшегося то ли экспедитором, то ли еще как-то на этом же уровне. Мы с ним никогда не сталкивались, но потом мне объяснил наш шофер, продолжавший работать в замке, что парню этому, тоже оставшемуся там работать, очень хотелось получить мою квартиру, и он решил, что для этого самый простой путь — донос на меня. Но эта бумажка была очень примитивной и уж без всяких фактов. Просто “большая коммунистка”. Все это теперь выглядит несерьезно, а тогда, с системой отправления в лагеря при первом подозрении, сильно трепало мне нервы. Родителям я обо всем этом не рассказывала. Им достаточно было горьких дум о сыновьях. Один, жив ли, нет ли, во Франции. А другой воюет на русском фронте, вернее, попал в мясорубку. Все мы знали, что русские отступают и отступают. На улицах Таллинна появились партии военнопленных. Страшных, грязных, оборванных и голодных. Мы судорожно вглядывались в их лица — нет ли среди них брата или знакомых. Это тоже было не так просто. Сопровождавшая их охрана не позволяла останавливаться и вообще обращать на них внимание.

Но все-таки даже в это тяжелое, мучительное время возникало вдруг что-то очень доброе и светлое. Как-то на улице подошел ко мне с прежней милой улыбкой старый Вилькес — шофер Лаурстина. Мы поговорили ни о чем буквально минуту, а потом он, спросив зачем-то мой адрес, простился. Работая вместе в замке, я мало имела с ним дела. Несколько раз в день звонила ему по телефону, передавая то или иное распоряжение Председателя. Да еще проговорили мы с ним всю дорогу, едучи из Меривяля на Вышгород, когда меня ночью вызвали на работу. Пожалуй, это все. А вот теперь, через несколько дней после нашей встречи, Вилькес появился уже поздним вечером с подводой на нашем дворе. Это он по своей инициативе привез нам нашу мебель, оставшуюся в замке. Мы в начале лета 1941 года переехали на дачу совсем налегке. Летом о вывозе вещей нельзя было и думать, а с приходом немцев тем более.

Хозяин нашей нынешней квартиры, еврей, эвакуировавшийся в Россию, оставил свою мебель на месте, правда, его бывшая прислуга стала ее постепенно вывозить и продавать. Но кое-что все же оставалось. И вот возникает Вилькес со своей совершенно неожиданной, негаданной заботой. Мы вносим с ним вещи наверх. Кто-то

из соседей нам помогает. Мы ведь перезнакомились со всеми, просидев несколько суток в подвале. За чаем Вилькес рассказывает, что с приходом немцев упоминавшийся мной уже Эско крутился вокруг нового начальства с разговорами о моей бывшей квартире. Наконец ему ее дали, а вещи мои немец-комендант распорядился отнести на чердак, благо он был рядом. Как Вилькесу удалось вещи вынести — легально или нелегально, он не рассказал. Сам он продолжал работать шофером в замке. Интересно — этот необычайно дисциплинированный пожилой человек с добрыми глазами и тихим голосом работал там при всех режимах. А старая прислуга наших хозяев-евреев продолжала тем временем вывозить понемногу все их вещи. Так она, имея от хозяина полную доверенность, расхитила всю его квартиру. Это была психология простых людей — что случилось, то случилось, немцы захватят всю Россию до самой Сибири. А пока что пользуйся полной безнаказанностью. Интересно было бы посмотреть на ее лицо, когда перед ней впоследствии предстал собственной персоной ее хозяин.

Весной появился у нас дома бывший секретарь заместителя Лауристина Ило Аннус. Этот милый человек пришел специально, чтобы меня успокоить. Он был в командировке, а когда вернулся, нашел у себя просроченную повестку из полиции СД. При его входе в кабинет один из сотрудников сказал другому: это к тебе по делу Киршбаум. Тот ответил сразу: дело закрыто. И обращаясь к Ило: — Можете идти, вы нам больше не нужны. — Оба мы были в тот вечер именинниками. А я обо всем рассказала маме. Теперь-то бояться больше нечего.

Как сейчас помню, в день моего рождения, когда мы пили чай с несколькими друзьями, раздался звонок, и открыв дверь, я остолбенела — снова мой следователь. Услышав голоса, он извинился и попросил несколько минут для разговора. Мы прошли с ним в другую комнату, и вдруг он говорит мне то же самое, что сказал раньше Ило: — Дело ваше закрыто, так что не о чем больше беспокоиться. Это все, что я хотел вам сказать. — Я поблагодарила. Какой странный следователь! Какой хороший человек!

Однажды поздно вечером, уже после начала комендантского часа звонит к нам более чем неожиданный гость. В первый момент я его не узнаю, потому что он в военной форме, мало того — в офицер-

ской. Да это же Хейнц Бейнрот. Человек, с которым я была связана многие годы, сначала по общей кашневской кампании — он друг Жени Золотова, а потом и по работе. Моя вторая фирма “Ээсти Терпентиини Вабрикуд” сотрудничала с его фирмой “Клейгельс и сын”. Он уехал с семьей в 1939 году в Германию, как и все местные немцы. Немножко неприятно, что он в форме, но что поделаешь. Садимся вместе с моими родителями и набрасываемся на него с вопросами. Папа в своей тарелке, потому что Хейнц прекрасно говорит по-русски. Он рассказывает и рассказывает. Это для нас первый откровенный взгляд на эту войну. Он весь переполнен ужасом, стыдом, отвращением. Он ненавидит себя за свою беспомощность и презирает себя за то, что до сих пор не выстрелил себе в висок. Об этом он говорит позднее, когда мы остаемся вдвоем. Я никогда не видела у этого крупного, плотного, уже немолодого человека таких измученных глаз, такого полного отсутствия даже тени улыбки на добродушном прежде лице. Он работает по интендантской части, наверное, в связи с тем, что он знает русский. Немцы, начиная войну, рассчитывали, что все население, в основном колхозники, будут с восторгом снабжать их продуктами питания, встречать хлебом-солью. Но, входя в поселок, они почти никого не видят. Мужчины или в армии, или ушли в леса. Женщины попрятались в домах, закрывшись ставнями. Военную часть расквартировывают. Тут-то и начинается ужас. Всех женщин, невзирая на наружность и возраст, в первый же вечер насилуют. Насилуют все по очереди. И это продолжается все время пребывания здесь части. Они повально пьют и насилуют. Еще пишут письма домой. А потом, забрав то, что им приглянулось из небогатого обычно крестьянского скарба, идут дальше. Все дальше и дальше на восток.

А тем временем наша жизнь шла. Надо было работать, кормить родителей. А я ходила по городу как зачумленная. Куда ни пойду говорить о работе, первый вопрос — ваше последнее место службы? — Совет Народных Комиссаров. — У нас нет свободных мест. — И так всюду. Были как будто и удачные дни. Один старичок, владелец лесопилки, стремился получить ее обратно. Я ему помогала оформлять документы, бегала по учреждениям. А дома у него составляла какие-то инвентаризационные списки, рассчитывала спецификации имевшихся у него когда-то на складе пиломатериалов. Бед-

ный старик верил, что немцы вернут ему то, что отняли Советы. Все это ни к чему не привело. Денег, чтобы мне заплатить за труды, у него не было. Так мы и расстались. Но уже к концу зимы, когда наше топливо — шпалы — истощилось, прихожу я как-то после своих очередных поисков домой, а мама подводит меня к окну. У нашего сарая лежит порядочная груда дров. Это мой старичок на лошади сам привез свой долг. На фоне той грубости и равнодушия, которые я ощущала на себе каждый день, старик меня особенно растрогал. Отказы отказами, а жить нам нужно. Встретила бывшего соседа по месту работы. Он, чтобы жить, стал варить свечи. Был у него знакомый пасечник — давал ему воск. А я стала ходить по квартирам и торговать этими свечами. Ведь электричества в городе не было. Он мне платил, правда, скудно, но полгода мы продержались, учитывая продуктовые запасы, сделанные братом. Ни русские солдаты, ни немецкие полицаи ими в свое время на даче не заинтересовались. А к весне встретила я на улице бывшего артиста Мариинского театра, знавшего меня с детства, баса Филиппова. Уже очень старый, высокий, статный, он, в отличие от многих, сам меня остановил, стал расспрашивать. Кончая разговор, сказал загадочно: “Думаю, что-нибудь мы устроим”. Я отнеслась к этим словам скептически. А на другой день он звонит: “Идите завтра утром на Целлюлозную фабрику. Найдите моего тезку заместителя директора Филиппова. Он о вас уведомлен”. Я пошла.

В отличие от того монументального Филиппова, этот был маленьким, быстрым, очень решительным деловым человеком. Он сказал, что у них есть место машинистки в лесном отделе. Сказал об условиях. Предложил завтра начать. “Но я должна вам сказать, что ...” — “Вы ничего не должны мне говорить. До свидания. До завтра”.

А завтра оказалось, что заведует лесным отделом на целлюлозе Василий Алексеевич Голубев. Его жена — племянница артиста Филиппова. Пути наши в эстонское время часто переименовывались. Оба мы с Голубевым работали в лесоперерабатывающей промышленности и дела вели в одном и том же банке. Василий Алексеевич сыграл большую роль в дальнейшей нашей судьбе. Жизнь сразу изменилась. Во-первых, пошла регулярная заработная плата, а кроме того, у отдела была сеть лесных бракеро́в по всей республике. И кое-кто из них, приезжая с отчетом, привозил для конторы, а нас было

всего 4 человека, какое-нибудь мясо. Иногда он покупал его на хуторах, а иногда каждый из нас получал (всегда за деньги) по зайцу или по куску оленины. Результат успешной охоты. Это играло в ту пору решающую роль в рационе каждой семьи. Живем относительно благополучно. Что с того, что донашиваем старые платья, носим штопаные чулки, ходим в матерчатой обуви на деревянных подошвах, сделанных из одного куска дерева. Ничего — стучим. У всех походка стала одинаковой. Все почти не поднимают ног и все-таки улица полна стуками. Это все ничего. Хуже то, что ты видишь только удрученные, замученные заботами лица. Всех тревожит война. Все задумываются о ее исходе, о своих близких, мобилизованных в ту или другую армию, и о тех, кого мобилизация пока не коснулась. А постепенно она захватывает не только местное население, но и командующих нами немцев. На целлюлозу в лесной отдел из Германии присылают начальником над Голубевым немца французского происхождения. Может быть, он из Эльзаса? Фамилия его Пассавант. Он строен, красив, всегда наряден. Но опасно молод. И вот как-то раз, когда он диктует мне письмо, раздастся звонок. Минуту он молча слушает, потом особенно замедленным жестом кладет трубку и произносит: “Все! Это конец!” И уходит к Голубеву. Уходит померкший, уже не задорно-красивый, а с лицом как будто посыпанным пеплом. Его призвали. На его место присылают не пожилого, а просто старого немца. Он спекулирует — по мелочи, совсем немного, но как-то противно. И все несет и несет в свою нору. Вот только этих двух представителей Запада и видела за всю войну Целлюлоза. В других отделах их не было вовсе.

Ко мне все на Целлюлозе относятся хорошо. Голубев сразу же предупредил меня, чтобы я в отделе о себе ничего не рассказывала, а в большой конторе тем более. Мне это и в голову не приходит. Никто никого ни о чем не спрашивает. Каждый живет в своем крохотном мире. А за мирком этим происходят страшные вещи. Началось все с евреев. Они стали проповодать. Те, кто не успел уехать на восток. Как же вы не успели, милые? Ведь было так просто — прийти и подать заявление. И все. И собирай вещи. А времени ведь было сколько угодно. Таллинн — это не Рига, куда немцы вошли сразу после начала войны. Таллинн-то пал только 28 августа. О чем же вы думали, бедные, несчастные, загнанные, замученные? У нас

была знакомая семья Лементи. Он, полуэстонец-полунемец, был судьей по особо важным делам. Она еврейка. Хороший зубной врач. Маленький сын. Ее немцы забрали сразу как пришли. А сына Георгий Константинович успел отвезти куда-то на хутор и, конечно, за деньги оставил его там жить. Иногда к нему приезжал. Была уже ранняя осень. Мальчик жаловался, что ему холодно спать на сеновале. Но что поделаешь? Хозяева боятся брать его в комнату. А в следующий раз отец застал сына больным. Очень больным. Был у него менингит. И он умер. Прошло 56 лет. Прошла вся жизнь, а я ночами все думаю и думаю, где бы можно было его спрятать в ту осень 1941-го. И не могу придумать. И не утешает то, что узнала я о судьбе их семьи уже после смерти ребенка. Тот, кто хотел, спасал. А большинство, вроде меня, жило в своей скорлупе. А их в это время угоняли на расстрел. Почему они всех нас простили?

И вот настал и мой черед. Как-то днем — был, наверное, праздник — мы втроем сидели за обедом. За мной пришли. Посланный бормотал, что это все пустяки, я скоро вернусь — всего несколько часов... Но что-то мне говорило — это не так. Показала папе, где деньги, сказала, чтобы позвонил Голубеву, взяла почему-то только зубную щетку, и мы пошли. Все туда же в полицию СД. Наверх меня не повели, тут же внизу дали подписать ордер на арест, приставили двух охранников с ружьями наперевес, и пошли мы на Батарейную. Все трое по мостовой. Не по панели. Вот и ворота. Это, наверное, самый неприятный момент, когда за тобой медленно закрываются старинные деревянные ворота, обитые гвоздями с огромными шляпками. Провели к дежурному. Приказали снять часы, все драгоценности, если есть. Их не было. Взяли отпечатки пальцев. Отвели на склад. Верхнюю одежду забрали — дали потертое, короткое для меня зеленое пальто с когда-то котиковым воротничком. На спине краской выведены две большие буквы SU. Я не сразу поняла, что это означает Советский Союз. Повели в самую тюрьму по большой, казавшейся бесконечной сквозной железной лестнице. На каждом этаже один охранник, громко выкрикивая мою фамилию, передавал меня следующему, стоявшему этажом выше. Так до самого верха. А там на площадке оказались две женщины — заключенные, встретившие меня словами: “А мы вас здесь давно ждем”. В голосах слышалось злорадство. Потом я выяснила, что одна из них

моя коллега — секретарь наркома финансов, а может быть, уже пугаю. Им было обидно, что они сидят давно, а я, рангом постарше, арестована только теперь.

Вводят меня в камеру. Духота нестерпимая. Кто лежит, кто сидит на полу. Всего со мной 17 человек. Камера — 11 метров. Какая-то русская женщина зовет меня к себе: “Здесь как будто побольше места”. Скоро отбой. Мы пытаемся устроиться на ночь. Выясняется, что клопов нет, но кишмя кишит вшами. Одна маленькая скамейка у дверей. На ней в очередь сидят по трое — отдыхают. Из рассказов соседей узнаю, что мы сидим в так называемой пересыльной. Здесь держат недолго. Потом распределяют кого куда. Все бы ничего, но очень мучает молодая эстонская девушка-хуторянка лет семнадцати. Она от горя сошла с ума и целый день без остановки, ни к кому не обращаясь, рассказывает одно и то же. Кончает и начинает снова. Как к ним на хутор пришли полицаи и, обвиняя в укрывательстве партизан, требовали их выдачи. Партизан в доме не было. Они били родителей. Сначала отца. Забили на глазах дочери насмерть. Потом взялись за мать. И тоже забили. Дочь изнасиловали, потом били, а потом бросили вместе с двумя трупами и ушли. Вернувшись, забрали ее и привезли в районную тюрьму. А оттуда уже на Батарейку. Этот рассказ я слушала 10 дней. Но и тут бывают светлые минуты. Как-то открывается окошечко, вызывают меня, и охранник передает мне пакет. Передача от мамы. Пока я расписываюсь, он, отвернувшись от окна, говорит в сторону: “Мама просила передать, что стало известно — ваш младший брат жив”. Окошко захлопывается. Он уходит. У меня двойной праздник. Видно, чтобы добиться передачи, нужна мамина энергия. Как мне сейчас вспоминается, кроме меня за эти 10 дней в пересыльной никто больше передачи не получил.

А на одиннадцатый день утром нас, нескольких человек, вывели в длинный широкий коридор. Из других камер тоже выходили женщины. Построили всех в три ряда. Вышел кто-то из охраны и начал переключку. По алфавиту. Услышав свою фамилию, кричишь — я! Вдруг раздается — Оямаа! Я! — отвечает милый голос моей начальницы канцелярии на Вышгороде. Ничего не понимаю. Ведь она же эвакуировалась сразу после начала войны. У нее много детей, среди них двое маленьких. Она спешила их увезти от войны в тыл.

После переключки меня отводят в камеру. Это уже совсем другое дело. Камера сравнительно просторная, и в ней всего 3 койки. Вот счастье — койка! На день они поднимаются. Знакомлюсь со своими соседками. Обе эстонки. Одна работала в трамвайном депо. Другая — не помню. Она инвалид. Сильно хромает. Здесь, конечно, несравнимо легче, вот только еда та же, что и в пересыльной. Утром дают порцию хлеба на весь день. Точно не помню, кажется 400 гр. и горячую воду. В обед суп из трески, но самой трески нет, только головы и чуть-чуть картошки. Вечером опять кипяток. Откуда они берут столько тресковых голов?

Выясняется, что всех способных работать женщин отправляют в тюремную швейную мастерскую. Совершенно не помню, что мы там шили. Начальницами цеха оказались две моих соседки по камере: трамвайщица и хромая. Некоторое время они ко мне присматриваются. Потом предлагают стать бухгалтером цеха. Сидеть надо в отдельной стеклянной будке. Это такое благо. Я соглашаюсь. Тем более, что карандаш держу в руках гораздо увереннее, чем иголку. Дела бухгалтерские невероятно запутаны. По дурости стараюсь как можно скорее разобрать все завалы. В конце концов показываю своим начальницам баланс, в котором они ничего не понимают, но они довольны. Теперь мне можно было бы работать спустя рукава, а не так, как до сих пор, сидя не разгибая спины, но тут меня постигает крах. Оказывается, что всем работающим в мастерских, не помню сколько раз в месяц, кажется два, полагается добавочный рацион. Хлеб, маргарин и сахар. Делят все те же мои две соседки по камере. Делят рядом с моей будкой. Я получаю колоссальную по нашим понятиям порцию всех этих роскошеств. Сначала думаю, что так полагается. Потом вижу, какие небольшие кучки разложены по столу для всех других. Спрашиваю. Мне отвечают, чтобы я молчала, а блага эти спрятала бы под кофту. Я беру себе порцию, как у всех других. На завтра меня сажают снова за ненавистное шитье, а в камере девицы меня бойкотируют. Но это не очень и волнует. В этом коридоре после работы наступает на два часа свободный режим. Можно заходить и в другие камеры. Я встречаюсь со своей Ли Оямаа. Выясняется, что она каким-то образом попала не в Челябинск, как большинство эвакуированных, а на Кавказ. А когда туда пришли немцы, ее отправили на постоянное место жительства,

где и арестовали. Неожиданно заходит ко мне в камеру Леня Лаас, моя соученица по гимназии. Мы не спрашиваем друг друга, за что сидим. Здесь это не принято. Но так приятно встретить родного человека, поговорить, повспоминать, просто посмотреть друг другу в глаза. А глаза у нее даже для тюрьмы уж слишком грустные. Однажды вечером в коридоре подходит ко мне заключенная, с которой мы несколько раз уже разговаривали, и шепчет, отвернувшись в сторону, как будто что-то совершенно незначительное, что она работает уборщицей в кабинетах начальства и что видела мое дело, где сказано, что я осуждена пожизненно. Кем осуждена, когда и за что? Все это остается без ответа. А тут еще напасть на мою голову. Койки наши на день поднимаются и зацепляются за длинную штангу под потолком. Хромая как-то вечером вешает свою палку на эту штангу. Как она это сделала, я не видела; по своему росту она не могла дотянуться. Факт тот, что на другое утро, когда мы все еще спим, она поднимает свою койку и палка якобы летит вниз и ударяет меня прямо по переносице. Это ее версия. Боль совершенно нестерпимая. Такое ощущение, что голова разворочена на куски. Лицо мгновенно начинает опухать. Вызывают не то медицинскую сестру, не то фельдшера. Она предлагает прикладывать мокрую холодную тряпку и разрешает не идти сегодня на работу. Потом уже на воле мне делают не помню по какому поводу рентген и говорят, что у меня когда-то был сломан нос.

По тюрьме ползут слухи, что скоро будет этап. Куда? В Германию? Никто не знает, но все строят догадки. И действительно, настает день, когда на утреннем построении во время переключки после каждой фамилии охранник добавляет слова: идти в мастерскую или остаться в камере. Потом сообщает, что все остающиеся должны сложить свои вещи. Я иду в этап. Оямаа тоже. Леня Лаас остается, и я ее больше никогда не встречаю. Только после обеда нас строят и уводят из тюрьмы. Идем на вокзал. Там грузимся в теплушки. После долгих счетов и пересчетов, каких-то споров и согласований теплушки закрываются, и мыдвигаемся. Куда, в каком направлении — ничего не знаем. С ужасом думаем, что в Германию. Но нет. Мы подолгу стоим на разъездах и просто в поле. Через несколько часов останавливаемся. Очень нескоро двери отодвигаются, и мы выходим. Тьма стоит такая, что даже станции не видно. Потом

узнаем, что это станция Рийзипере. Нас снова строят и после переключки в темноте — ведь идет война и всюду полное затемнение — мы куда-то идем. Только теперь по раздающимся сзади голосам понимаем, что с нами прибыли и мужчины. Идем в одном с ними направлении. Куда-то приходим. Нас вводят во двор. Снова переключка. И наконец впускают в барак. Он новый, деревянный, очень большой, с двухэтажными нарами. Я занимаю верхнее место во втором ряду от окна и подальше от огромной парашы. Ложимся в чем пришли на голые доски и засыпаем.

Утро первого дня я не помню. Вижу только картину, как мы с Ли Оямаа идем по торфяному полю в цепочке других и поворачиваем куски торфа, разложенные по полю для просушки. Уже через два-три часа я чувствую себя совершенно парализованной. Не могу ни согнуться, ни разогнуться. Спина была всегда моим слабым местом. И тут Ли Оямаа, которая старше меня лет на 20, приказывает мне выпрямиться и так идти рядом с ней медленным шагом, а она становится между двумя бороздами и с удивительной ловкостью — впечатление такое, что она занималась этим всю жизнь, поворачивает кусок налево от себя и кусок направо. Шаг вперед и снова налево и направо. И так всю борозду, длиною не меньше 500 метров. На повороте короткий в несколько минут отдых и назад. И так целый, правда, на этот раз укороченный, день. Я в ужасе. Что же я буду делать, если в этом заключается вся работа. Переходить на инвалидность, но инвалидом меня никто не признает...

После возвращения в лагерь нас срочно отправляют в недалеко отстоящий березнячок, и там мы должны розданные нам мешки набить сеном из прошлогодних копен. Мы радуемся березнячку, сену, тому, что спать сегодня будем на мягком.

Следующее утро оказывается решающим. Перед строем появляется начальник лагеря. Высокий, плотный, очень крепкий, с грубым, топором вырубленным лицом. В руке у него резиновая дубинка. Он в черной форме и высоких сапогах. Обращается к нам по-эстонски. Он эстонец, но этот красивейший язык из его уст звучит то рычаньем, то лаем. Сообщает, что у нас десятичасовой рабочий день и что работать мы должны не покладая рук. Потом идет по рядам. Каждый произносит свою фамилию, а он, тыча своей дубинкой в грудь, объявляет, на какую работу ты определен. Идущий за _____ за-



Ли Оямаа. 1960-е годы

ключенный, не то его секретарь, не то посыльный, записывает, кто куда направлен. Глаз у начальника наметан, и, как будущее показало, он не ошибается. Звучат отрывочные приказы: на машину, на поле, в обслугу, на кухню. Только бы не на поле, только

бы не на поле. Вот он останавливается передо мной, тычет своей дубинкой и пролаивает: на машину. Слава Богу. Оямаа идет на поле. Мы обе довольны.

На следующий день приступаем к работе. Подъем рано. В шесть часов выходим строем из лагеря. Час ходьбы до торфяных разработок, вернее, до нашего участка. Что-то около шести километров. В середине бесконечного болота с краю стоит м_Г—на. Машинист из вольных. Остальные, кроме охранников, все заключенные. Мужчины в полосатой арестантской робе с такими же шапочками на головах. Женщины, а их всего двое, в брезентовой одежде. Машинист, посоветовавшись с охранниками, расставляет нас по местам. Все мужчины, их шесть человек, идут к конвейеру, перерезающему все поле. Меня, высокую и молодую, ставят на приемку торфа из м_Г—ны. Перед моими глазами жерло машины, из которого непрерывным жидким потоком идет торф.

Я должна подкладывать под струю доску, длиной, должно быть, метра полтора. Пока торф на нее идет, надо следить за ней, чтобы не соскользнула и еще чтобы предыдущая доска вовремя повернулась и ровно пошла бы по конвейеру в поле. Там мужчины ее снимут, отнесут (довольно далеко, чтобы часто не переставлять машину), скинут в аккуратный ряд на землю, вернутся и пустую сбросят на конвейер, с которого я ее сниму; нет, кажется, не я, а вторая женщина снимает и бросает в кучу сбоку от меня. Я снова беру, подставляю, направляю... Плохо, если доска намокает, тогда она делается очень тяжелой. А ведь у мужчин на ней еще тяжелейшая торфяная масса. У нас бывают перекуры. Не помню, сколько раз. Запомнился один день, когда мы во время перекура отдыхаем, сев в кружок на краю ямы. Радуемся солнцу, минуте отдыха, возможности поболтать в воздухе затекшими ногами. Мимо по краю поля по тропинке несколько вольных идут на работу. Мы и раньше их видели и даже осторожно улыбались друг другу. Сегодня последней идет женщина. Полная, средних лет брюнетка. Оглянувшись на разговаривающих между собой часовых, она быстро вынимает из сумки и бросает в яму что-то завернутое в газету. Один из наших мужчин мгновенно хватает пакет, газету сует в свой резиновый сапог, а нам всем раздает по одной вареной картофелине. В пакете их было точно столько, сколько нас, не больше и не меньше. Мы с наслаждением съедаем каждый свою картофелину и похваливаем смелую, добрую женщину. Мягчают лица, светлеют глаза. Обед нам привозят не из лагеря, а с торфяного завода. Это колоссальный плюс. Суп отнюдь не такой, как в тюрьме, а лучше, и к нему хороший кусок хлеба. Но это не мешает моим коллегам на обратном пути, проходя по поселку, заглядывать в помойки, выискивая там что-нибудь съедобное. Например, картофельную шелуху. Из нее можно, предварительно хорошо ее промыв и добавив хлебных корок, а летом какой-нибудь травы, сорванной на краю дороги, сварить на общей для всего барака плите отличный суп. Проблема только в соли. Постоянная проблема соль — и еще лук или чеснок для десен. Раз в неделю в субботу нас после работы ждет заводской паек. Порядочная порция хлеба, если не ошибаюсь, граммов сто сахара, чуть-чуть маргарина и соленая салака. Очень хорошо, если она не испорчена. Но и порченная идет в дело. Кладем ее в запасенную каждым (с тех

же помоек) консервную банку, добавляем у кого что есть и варим на той же плите, которую к нашему приходу должна хорошо раскалить обслуга. Здесь же развешиваем с _____ья свою рабочую робу и мокрую обувь. Мне повезло. Я снова получила посылку, только почему-то не от мамы, а от подруги. Это меня беспокоит. Хотя посланы мои собственные вещи — платье, теплая кофта и, о счастье — соль, сахар, лук, чеснок. Всего очень немного. Уж если зашел разговор о еде, то обязательно надо рассказать о моем дне рождения. Утром сразу после пробудки подошла ко мне Ли Оямаа и преподнесла подарки. Два кусочка хлеба, посыпанные сахаром, и мои собственные шерстяные носки, которые она у меня выкрала и рваные пятки которых заштопала художественной штопкой, подпоров для этого свой джемпер. Такая была Ли Оямаа.

Во время наших перекуров на поле со мной часто разговаривал один из заключенных. Высокий, худой блондин, интеллигентнее других. Его интересовали любые мелочи с воли. Ходит ли трамвай? Сколько стоит билет? Немцы его посадили сразу после своего прихода. Как-то раз к концу рабочего дня охранники засуетились и, будучи в полной панике, сняли нас с работы и повели в лагерь почти бегом. Оказалось, что высокий блондин попросил утром охранника поставить его последним в ряду у самого кустарника, окаймлявшего поле. Объяснил, что у него что-то вроде дизентерии. Охранник скрывался в кустах вместе с ним. Так повторялось много раз. Стражу надоело, и он потерял бдительность. А заключенный не вернулся. Мы прибежали в лагерь. Была срочно послана погоня. О результатах нам никто ничего не сказал.

У лагеря нашего территория совсем небольшая. Широкой полосой разделена на две части. С обеих сторон этой полосы, то есть нейтральной зоны, колючая проволока. Но все это, конечно, хорошо просматривается. На той стороне мужской лагерь. Начальник общий и порядок одинаковый. Особенно близко подходить к колючей проволоке не положено. Переговариваться или переглядываться тем более. Я очень скоро замечаю на той территории своего одноклассника Тосю Богданова. Брата очень известного в Тарту доктора Богданова. Сначала просто тихонько за ним наблюдаю. Потом делаюсь свидетельницей того, как начальник, уж не знаю за какой проступок, гоняет его бегом вокруг барака. А сам стоит и контро-

лирует, чтобы наказанный не снижал темпа и уж, конечно, не останавливался. Бегают Тося долго. Потом его отпускают, и он садится под стеной барака. И все не может отдышаться. Эта экзекуция повторяется еще не раз. А как-то, сразу после возвращения с работы, одна из заключенных входит в барак и равнодушно так сообщает: “А тот опять бегают”. На этот раз Тося бегал несколько часов. Как потом мы узнали, он сел после работы отдыхать, закрыл глаза и не заметил, как подошел начальник, а при его появлении следовало вскочить и вытянуться во фронт. Он этого не сделал. И бегал. У нас заперли дверь, а он продолжал бегать. Наутро мужчины на работе шепнули, что ночью его увезли — они точно не знали, но, кажется, на скорой помощи. Сердце не выдержало. Я встречалась впоследствии с доктором Богдановым. От него я узнала, что Тося пожил некоторое время на воле, но очень рано умер.

В своих воспоминаниях о 1940-41 годах я рассказывала о талантливейшем человеке, бывшем в те годы начальником коммунального отдела города Таллина, Йоханнесе Хинте. Я тогда упомянула о наших частых встречах по работе и добрых отношениях. Так вот этого человека я встретила на болоте. Он в робе заключенного, под строгой охраной привез нам обед. Когда подошла моя очередь, я протянула ему свою миску и тут он поднял голову, мы пристально посмотрели друг другу в глаза, и в его круглых, темных, как вишни, глазах промелькнула смешинка. Он зачерпнул своим черпаком суп с самого дна, и я получила полную миску густой массы, почти к —. Где-то в 1962-63 годах, приехав из Латвии работать на эстонское радио, я увидела входящего в редакцию Йоханнеса Хинта. Невзирая на свидетелей, бросилась к нему. Поседевший, потолстевший, но это был тот же энергичный, стремительный, веселый Хинт. Мы сели с ним в тихом уголке, и он рассказал мне свою историю.

Он тоже бежал из лагеря. Первой своей задачей он поставил — сменить полосатую одежду на что-нибудь штатское и сразу приступил к делу. На ближайшем же хуторе он ночью украл поросенка. В следующем доме он этого поросенка выменял на поношенные брюки и что-то еще, кажется, старый свитер. Уже переодетый, он со своим хорошо подвешенным языком ухитрился добраться до моря, украсть лодку и перебраться через Финский залив в Финляндию.

А ведь его ждали пограничники, берег моря весь был широко прочесан бороной, чтобы видны были малейшие следы на песке. Ежеминутно его мог обнаружить один из многочисленных сторожевых катеров. Но он добрался. А после войны, вернувшись в Эстонию, учился, работал, думал, создавал. Изобрел нашумевший в свое время строительный материал силикальцит. Стал директором завода или института (не помню уже). Был ко времени нашей встречи одним из самых популярных людей в республике. Еще он рассказал курьезный случай. В пятидесятые годы к нему пришел наш бывший начальник лагеря. Он отсидел свой срок и заявился к Хинту — своему бывшему заключенному — просить работы. Обещал не подвесить и работать честно. Хинт, будучи добрым человеком просто с какой-то распахнутой душой, согласился. “Ты же помнишь, он был толков, энергичен, хороший организатор. Надо же ему было где-то работать”. Но недолго этот лающий и рыкающий человек оставался честным. Решил сделать карьеру, а лучший путь для этого — донос. Он и написал обширный донос на своего благодетеля. Донос в те времена еще не сработал. Это позже каждая строка в любом доносе инкриминировалась Хинту как доказанное преступление. А в те времена вылетел с работы доносчик. Больше они не встречались.

Ну, а Хинт? Хинт ширил и ширил свою деятельность, работал, как всегда, с упоением, отдавая всего себя. Вокруг него кормилась масса народу и вдруг — стоп! Он оказывается под судом и бесславно и несправедливо кончает свою жизнь в тюрьме, теперь уже советской. Но эту его эпопею, очень в свое время и евшую, таллинцы знают лучше меня.

И еще один человек бежал, по слухам, из нашего лагеря в то же лето. Тихая, милая, совсем еще молодая хрупкая женщина. Помому, фамилия ее была Пяэзуке. Много славных людей встретила я в нашем бараке. Совершенно обособленно от всех, как на необитаемом острове, держались крепко вместе шесть молодых женщин с острова Сааремаа. Все они были женами советских офицеров, служивших там в гарнизоне. Мужья их погибли, а они были сразу же арестованы. В основном лагерный контингент — это эстонцы. Но кроме островитянок, было еще несколько русских. Все мы, кто хуже, кто лучше, знали эстонский язык. От офицерских жен нельзя было этого о ать. Они ведь появились на эстонской земле толь-

ко год тому назад. И не знали ни слова. Чувствовали себя отщепенками. У них не было ни летней обуви, ни легкой одежды. Маялись они невероятно. Но держали все в себе, старались не попадаться на глаза никому. Пробриться в их доверие стоило большого труда. Все они были хорошие, честные женщины, преданные памяти своих мужей и твердо верившие в победу своей страны.

Было в нашем лагере и несколько цыганок. Одна, сидя как-то у окна, предложила мне погадать. Чтобы ее не обидеть, я согласилась. Она бросала на скамейку какие-то косточки. Бросала несколько раз, а потом, нимало не сомневаясь, сообщила, что бумаги мои уже идут. Они в порядке, но задерживаются в пути. Однако все кончится как надо. И еще одно предсказание выслушала я приблизительно в то же время. На этот раз на болоте. Среди наших мужчин был один уже очень немолодой человек. Полный, седой, но еще крепкий. Торф носил, не отставая от других. Вот он и нагадал мне по руке во время перекура, когда мы сидели опять на краю ямы. Нагадал вещи совсем неожиданные и как будто несуразные. Сказал, что очень скоро, буквально уже на пороге, моя свадьба. Что у меня будет двое детей. Остального я не запомнила. Старику я совершенно не поверила. Где уж в наших-то условиях, да еще при пожизненном приговоре, думать о свадьбе.

На работу и с работы нас вели всегда два охранника. Нас было немного, и шли мы без строя свободно, часто гуськом. Как-то один из охранников подмигнул мне, чтобы я отстала от других. “Ваша фамилия Кирсбаум? Я почему запомнил, потому что меня зовут Кирс. Так вот, вы в субботу поедете домой. Я слышал в конторе. — И тут же, обращаясь ко мне: — А ну, не отставать! Вперед!” Я снова не поверила. Бред какой-то. Но с Оямаа поделилась. И еще с одной русской, с которой мы спали рядом в пересыльной. Она дала мне даже какие-то поручения. И офицерским женам рассказала. Но в субботу ничего не случилось. Как всегда, с утра все потянулись на работу. “Странно, — сказал Кирс. — Значит, я ошибся. — Да, значит, ошибся”.

Прошла еще одна неделя. А в субботу после пробудки влетает, как всегда впопыхах, посыльный начальника Маурус: “Киршбаум! С вещами”. Я судорожно собираюсь. Прощаюсь, с кем успеваю, и мы идем к конторе. “Маурус, — спрашиваю я, — а у вас живет брат в

Отеля?” “Жил, — говорит он. — Его расстреляли немцы”. Некогда спрашивать, как это случилось. Бедный весельчак Маурус. Он работал в доме отдыха Отеля, что на самом озере, развлекал отдыхающих. Я прожила там четыре дня. В отличие от многих других затейников, работал он с душой, с выдумкой, отдавая этому делу всего себя. В конторе сидящий за столом начальник при моем появлении встает и подает мне руку. Ну и удостоилась же я чести. Некоторое время я жду стражу. Потом двое — один спереди, другой сзади, винтовки не за плечом, а на руку — ведут меня на станцию. В поезде занимаем отдельное купе. У них оружие все время наизготовку. Почему-то ощущения радости у меня нет, скорее, наоборот. Сердце ноет.

В Таллинне на дебаркадере меня встречает отец. Мы выходим из вокзала. Снова передо мной эта чудо-картина. Парк, а над ним на горе старинные дома, замок и Длинный Герман. Не думала, что снова это увижу. С тех пор каждый раз специально выхожу из вокзала с этой стороны и пью глазами эту красоту. Отец просит разрешения у стражи меня покормить. У него с собой бутерброды. Парни мило-стиво соглашаются. Мы садимся на бульваре на одну скамейку. Они тактично на другую. И папа рассказывает свою стр — ую повесть. Мама продержалась после моего ареста только неделю. Они вместе отнесли мне первую передачу, и мама слегла. У нее начались нестерпимые боли в спине. Уже в постели написала прошение Генеральному Комиссару. Ей делалось все хуже. В конце концов Голубев прислал своего друга врача, и он взял маму к себе в больницу на Пярну маантеэ. Там она сейчас и лежит. Ей делали рентген и нашли скоротечный рак спинного хребта. Стража торопит. Мы идем. Папа по тротуару, мы по мостовой. Снова полиция СД. На этот раз меня ведут вверх. Объясняют, что выпускают меня только проститься с мамой. Я подписываю обязательство каждую субботу отмечаться в полицейском участке нашего района. Формальности окончены. Спускаюсь вниз. На первой же площадке меня останавливает офицер. Hauptmann Heussel, представляется он. Это единственный немец, которого я встретила за всю свою одиссею. С места в карьер, тут же стоя на лестнице, он предлагает мне на них работать. Это коренным образом изменит вашу судьбу, добавляет он. Я отказываюсь. Если уж я на русских не работала, как вы можете требовать,

чтобы я работала на вас? Он разводит руками. Мы расстаемся. Я в таком состоянии, что мне сейчас море по колено. Я хочу только к маме. Может быть, что-нибудь можно еще сделать. Папа ожидает внизу. Трамваи не ходят. Такие переходы — в Кадриорг и обратно в больницу — нам не под силу. Решаем зайти к моей подруге, она живет совсем недалеко. Удача. Она оказывается дома. Отправляет меня мыться и меняет белье и одежду. Дает мне все свое. И мы идем в больницу. Мама очень исхудала, но полна оптимизма. Она так счастлива, что я вышла из тюрьмы. Теперь уже все будет хорошо. В списках на улице Лай, вывешиваемых с последними сведениями о мобилизованных в Красную Армию, папа нашел нашу фамилию. Там было сказано, что такого-то числа брат был еще жив. А теперь и со мной все в порядке. Мама считает, что скоро она встанет. Мы прощаемся с ней, выходим, и я иду к доктору Эллеру. Хотя мы и не знакомы, он встречает меня как старого друга. Усаживает. Гладит меня по руке и рассказывает. Итог — нет никаких надежд.

А вечером папа повествует, как ему удалось меня вытянуть. Мамино прошение на немецком языке, справка из больницы от доктора Эллера, что она безнадежна, и Георгий Константинович Лементи. Вот три основные вехи. Папа с Георгием Константиновичем идут вместе в Кадриоргский дворец. Просят приема у генерал-комиссара. Оба седые, высокие, красивые. Они производят впечатление на адъютанта. Он обещает сделать все, что в его силах. Беседу с адъютантом на прекрасном немецком ведет Лементи, папа, не владея языком в достаточной мере, только поддакивает. Приходят снова и снова. Наконец получают бумагу с резолюцией высшего начальника. Выпустить проститься с матерью.

Звоню Голубеву. Он предлагает отдохнуть 1-2 дня и выходить на работу. Предупреждает, что контора ни о чем ничего не знает. А мне все не верится, что это мамин конец. Вдруг что-то еще упущено. Решаю, что надо поискать доктора Таре, того, кто спасал меня в дни боев за Таллинн. Звоню ему домой. Оказывается, он работает в больнице на Нарва маантеэ — в бывшем здании нашей Русской гимназии. Иду туда. Жду в коридоре. Вот вдали показывается группа докторов в белых халатах. Видно, это обход. Впереди он — доктор Таре. Иду ему навстречу. Последние шаги мы уже бежим друг к другу, обнимаемся и замираем. Он знал, что я в тюрьме. Оказыва-

ется, мама успела и у него еще взять какое-то письменное свидетельство в мою пользу. Он не верит своим глазам. Неужели это я? И оттуда. Прошу его связаться с доктором Эллером и прийти ко мне вечером. И снова мы сидим на том же диване на улице Вейценберги. Почему так грустны и тревожны всегда наши встречи? Он берет своими сильными руками мои руки и сжимает их крепко, крепко, как будто этим жестом хочет передать мне свою силу, влить в меня энергию для предстоящих трудных дней.

Да, это конец. У мамы уже четыре позвонка мягкие. Сколько ей осталось жить? Несколько недель, наверное... И такая боль на его уже немолодом, со стороны кажущемся неподвижном, лице. Доктор Эльмар Таре.

Как много истинно хороших людей, добрых друзей прошли со мной рядом за мою долгую жизнь. Хоть иногда и коротенький отрезок этой жизни, но прошли.

На другой день я иду на работу. Все мы делаем вид, как будто я и не отсутствовала. Только начальство выпадает из общего тона. В середине дня у нас в отделе появляется администратор Целлюлозы Ландсман. Он здоровается со мной и передает большой букет красных роз. — От директора Розе и от всей администрации, — добавляет он. Коллеги в недоумении, а я тем более. Сколько внимания и сочувствия в этих розах. Сейчас я думаю: а не продолжали ли они выплачивать папе мое жалованье, хотя бы в уменьшенном размере. Иначе на что бы родители жили? Может быть, тогда я это и знала. А теперь забыла? Перевозим маму домой. Ей так немного осталось жить и так хочется видеть нас как можно больше. Знакомая монахиня ухаживает за ней, пока я на работе. Я хожу по субботам отмечаться и понимаю, что меня ждет возвращение в тюрьму. Надо срочно подумать о судьбе Ли Оямаа. Ведь на воле о ней никто ничего не знает. Все считают, что она в эвакуации. Надо кому-то все о ней сообщить. Ведь если меня удалось вытащить, то есть все основания вытащить и ее. Она была беспартийной. На своем, правда, высоком посту заместителя управделами Совнаркома занималась только хозяйственной деятельностью. У нее дети. Она им нужна. Судорожно думаю, кто может за это дело взяться. Останавливаюсь на бывшем начальнике юридического отдела Совнаркома Нигуле. Он умный, порядочный, энергичный. Служит теперь, оказывается, в

Министерстве юстиции. Иду к нему на работу. Рассказываю все об Оямаа. Он, как и все сотрудники, относился к ней хорошо. Нигуль все выслушивает, но ничего не обещает. Человек осторожный. Потом, уже в советское время, узнаю от самой Оямаа, что он приложил все силы, чтобы ее обелить, и добился своего. Ну, а я выписываю из Риги своего жениха, бывшего рижского движенца, с которым я познакомилась на съезде 11 лет тому назад. Он очень нравится маме, и она умрет спокойно, если мы поженимся. Для папы это первый из моих поклонников, которого он признал. Надо сказать, что во время моего отсутствия Борис Владимирович очень поддерживал их своими письмами. Он приезжает, и мы регистрируемся в первый раз. Очень скоро он приезжает снова, мы регистрируем свой брак в ЗАГС'е и венчаемся в Симеоновской церкви. Венчают нас одновременно три священника: отец Иоанн Богоявленский, учивший всех нас Закону Божьему, очень близкий мне человек по нашему Движению, отец Михаил Ридигер и, тоже движенец, отец Ростислав Лозинский. Потом они все трое приезжают к нам и служат в маминой комнате торжественный молебен, а мы, молодые, стоим с венчальными свечами в руках. Мама счастлива. Когда мы садимся со всеми отцами, посаженной моей матерью Еленой Александровной Гизетти, Георгием Константиновичем и с шаферами за свадебный стол, мама тихим голосом пытается крикнуть из своей комнаты "ура". Через три дня после нашей свадьбы она теряет сознание и очень скоро умирает. Те же три священника провожают ее в последний путь. Муж мой уезжает на работу в Ригу, а я еще некоторое время ликвидирую дела, пытаюсь как-то наладить папину жизнь. В конце концов, оформив на свою новую фамилию выездные документы (ведь нас разделяет граница, на которой их будут пристально проверять), уезжаю сама, оставляя бедного папу одного с его горем. Но он твердо стоит на том, что место его здесь, в Таллинне. Здесь он будет ждать возвращения своего сына.

После того, как я не являюсь в следующую субботу отчитаться в полиции, к папе приходят узнать — в чем дело. Он говорит, что я уехала в командировку. Куда? Уезжая, я ничего ему не сказала. Они идут к дворничихе. Она, хоть и была в церкви на нашей свадьбе, но "совершенно не в курсе дел". На Целлюлозе им сообщают, что я уволилась, а о дальнейшем они тоже ничего не знают. Мои пресле-

дователи не догадываются зайти в ЗАГС и проверить, не переменяла ли я фамилию. След мой потерян. А Рига — это другая полиция, другое начальство.

Я начинаю новую жизнь без родных, без друзей, без языка. А работа у меня есть! В Таллинне было отделение кинофикации. Там работали мои знакомые и устроили меня в такое же отделение, но в Риге. Я секретарь технического отдела. Мне платят деньги, и я не безработная. Все делопроизводство здесь на немецком языке и разговорный язык немецкий. Латвийский мне пока что совсем не нужен.

Отнюдь не легко складывается дальнейшая жизнь. Я трудно вживаюсь в новые обстоятельства, в чуждый мне круг знакомых. Потом все это было преодолено, но где-то в глубине оставалась тоска. Уезжая из Эстонии, я не представляла себе, что буду скучать по этой родной мне республике до конца своих дней.

9 марта 1944 года Таллинн бомбят. На работе узнаю, что он пылает со многих сторон. Я звоню сразу же папе по телефону. Он жив. Выбиты все окна и входная дверь. В подвал попал снаряд. Там все разбито. А мы-то спрятали с ним в подвале кое-какие вещи, посуду. После долгих уговоров папа соглашается сразу же выехать ко мне в Ригу, а квартиру забить досками.

Когда мой брат, войдя осенью вместе с Эстонским корпусом в Таллинн, полный надежд прибежал к нашему дому, он увидел эти доски на окнах и сердце у него упало. Он пошел к дворничихе — ее не было. Женщина из соседнего дома ему рассказала, что мама умерла, что я вышла замуж и уехала (куда? Может быть, и в Германию?). А отца она после бомбежки Таллинна больше не встречала. С этим ужасом в душе брат и пошел с корпусом дальше навстречу самым трудным боям за освобождение эстонских островов.

РИГА - МОЛОТОВ - РИГА

Мой переезд в Ригу — это как прелюдия ко всей моей дальнейшей рижской жизни. Муж получает квартиру, но сообщает, что в ней стоит только один письменный стол и стул к нему. Мне почему-то это кажется недостаточным. Перевезти что-нибудь из Таллинна во время войны, да еще второпях под угрозой ежеминутного ареста — почти невозможно. Но друзья помогают, находят какой-то транспорт, и я отправляю свой диван, мамину кровать, на которой она только что умерла, один стол. Собираюсь сама. У нас с папой молчаливый уговор — все остать в Таллинне, куда вернется, должен вернуться брат, где будет жить папа, и поэтому я с некоторым усилием позволяю себе взять какую-то необходимую утварь, белье, какие-то сделанные мною запасы, личные мои вещи. К ужасу набирается ровно 30 единиц. Никаких больших чемоданов и сундуков брать с собой не разрешается. Поезда переполнены. Существует только одна железнодорожная ветвь на Ригу — узкоколейка через Руиену. В Руиене пересадка. Что я буду делать со своими пакетами? На счастье, жених моей сослуживицы со своим коллегой едут в командировку в Берлин. Естественно, через Ригу. Прилаживаюсь так, чтобы попасть с ними в один поезд и в один вагон. Но почему эти чужие для меня люди обязаны перетаскивать мои вещи из поезда в поезд? Они оказываются очень любезными. В Руиене в полной темноте мы распределяем обязанности. Я остаюсь на своем месте, они вдвоем несут мои вещи через рельсы в другой довольно далеко отстоящий поезд. Один остается там, один носит дальше. У них у обоих по чемоданчику и большой ящик прославленного эстонского масла для берлинского шефа. Не понимаю, почему они сразу не забрали это несчастное масло. Милый мой эстонец все носит и носит, время торопит — я судорожно подношу ему вещи к дверям. В вагоне толчея, все бегает

туда-сюда. Под самый конец эстонец с ужасом спрашивает, а где же масло? Масла нет. Как я не углядела — не знаю. Суета вокруг, понукание кондукторов, спешка... В какой-то момент отключилась и потеряла контроль. Вынесли, скорее всего, сами кондукторы и, конечно, не через эти единственно открытые двери. Понуро иду в другой поезд. Даже смотреть на них обоим стыдно. Они ни в чем не упрекают, по-прежнему любезны. Но оба совершенно убиты. Видно, их ждут большие неприятности. Но этим все не кончается. Приезжаем в Ригу. Муж меня не встречает. Тут уж они в полном недоумении. Куда девать меня с моими тридцатью пакетами? Другие бы поклонились и ушли, а мои эстонцы бегут на вокзал, узнают, что существует камера хранения, мы расстанавливаемся по-руиенски, и один начинает носить. Я стою в очереди к окошку камеры хранения, и вокруг меня вырастает гора вещей. Они уходят. Сдаю теряющему терпение железнодорожнику все до одного пакета и иду в полной темноте — без фонаря и спичек — искать свой будущий дом. Хорошо, что с собой у меня письмо от мужа с адресом. Это очень далеко. Спросить дорогу не у кого. Комендантский час. Улицы пустыньны. Но дежурный на вокзале мне подробно объяснил дорогу. Странно, что ни один ночной патруль не попался на моем пути. Прихожу. Двухэтажный дом. Ворота на запоре. Начинаю стучать. Стучу долго без всякого результата. На улице осенняя стужа с обычным в Прибалтике ветром. Напротив большой белый дом — больница. Стучу и сюда. Выходит старый санитар латыш. С трудом понимает немецкий. Я объясняю свое положение. Прошу меня впустить в коридор. Он категорически отказывает — им это запрещено. И закрывает дверь. Время тянется нестерпимо долго. Стою, прижавшись к дверям — здесь хоть из-под ворот не дует. Внезапно двери больницы раскрываются. Старик выходит и, ничего не объясняя, зовет меня внутрь. Там светло и относительно тепло. Сначала я сижу на стуле, но со временем его сердце окончательно смягчается, и он разрешает мне лечь на каталку для больных. Я закрываюсь своим пальто и так лежу до того часа, когда выходят на работу дворники. Благодарю милого старика — и “домой”. Звоню. Дверь квартиры сразу открывается, и муж объясняет мне, что он так вечером завозился с приготовлениями к моему приезду — мыл полы, что проспал до самого утра. Берем у дворника тачку и идем на вокзал за вещами.

Со временем все понемногу устраивается. Я сразу же начинаю работать в техническом отделе кинофикации. Скучно и нудно невероятно. После моей многолетней кипучей деятельности это перелистывание стра-

ниц книжки, лежащей в полужакрытом ящике стола, изматывает до полного опустошения. Да и так — все неинтересно, все чуждо и ненормально. Нормальны мама, папа, братья, свой город, своя интересная, кому-то нужная работа. И так угнетает ощущение, что все, буквально все окружающие считают тебя и твой народ насекомыми, подлежащими уничтожению.

Начинаются разговоры о грядущей мобилизации, под которую попадут родившиеся в 1911 году, т.е. мой муж в их числе. Он работает в комбинате, не дающем освобождения, и это его первая в жизни работа. Никаких связей у него нет. Неужели идти воевать за Германию? Но тут мы заставляем освятить свою квартиру. Приходит наш друг по Русскому Студенческому Христианскому Движению отец Георгий Бениксен с матушкой. С ним на дядька Витя Караваев с женой — тоже движенкой. Впоследствии Виталий Васильевич будет арестован, отсидит свои 10 лет в лагерях, возьмется там за йогу, вернется в Ригу, начнет лечить людей травами и диетой и прогремит по всему Союзу как великий врачеватель. После молебна разговор заходит о мобилизации. Отца Георгия спасает сан. Витя работает в Экзархате* — это дает бронь. И тут он вспоминает, что Епархиальное управление православной церкви ищет секретаря — у него тоже будет бронь. На другой же день муж устраивается там на работу, и мы благословляем тот час, когда зашел этот разговор. Юрист по образованию, человек церковный, муж отлично чувствует себя на новом месте.

Через несколько месяцев, 10 марта 1944 года, в начале рабочего дня по радио сообщают, что советские войска разбомбили Таллинн и он горит со всех концов. На беду, моего начальника нет на работе. Я бегу к директору Ostland-Filma, чтобы позвонить папе по телефону. Только в этом кабинете есть связь с другими городами. Мне преграждают путь две секретарши. Herr von Lerin отсутствует. Когда он будет — не знаем.

“Пропустите меня к его телефону”, — прошу я, объясняя ситуацию. “Herr von Lerin был бы против”. Тут я взрываюсь: “Мне плевать на Herr von Lerin”, — ору я и устремляюсь в его кабинет, добиваюсь связи и, слава Богу, слышу папин голос. Да, город страшно пострадал. Всюду пожары. В нашем доме вылетели все окна и двери. В подвале что-то взорвалось, но пожара нет. Мне с трудом удается уговорить отца забить квартиру досками и сразу же выехать ко мне; объясняю, что это на самое короткое время, он успеет еще встретить сына. Наконец он соглашается. Я чинно благодарю совершенно остолбеневших секретарш и выплываю, понимая, что это катастрофа. Herr von Lerin мне

* Экзархат - канцелярия при Экзархе православной церкви в Прибалтике Сергии.

этого не простит. На счастье, скоро возвращается мой начальник — мой ангел-хранитель. Он сразу же бежит вниз и долго умасливает обеих дам, чтобы они не говорили ничего директору. Объясняет, что я была вне себя, потеряла голову. “Вы бы на ее месте...” и т.д. и т.д. Сходятся на том, что я приду и принесу им свои извинения. Что я и делаю, употребляя самые изысканные выражения. Конфликт исчерпан. Правда, начальник ругает меня нещадно — но от него я все согласна выслушать. Тут я сделаю небольшое романтическое отступление. В Таллинне я встречалась у знакомых с очень красивой дамой Натальей Александровной Новицкой. Мы с ней, несмотря на разительный отрыв в возрасте, подружились. Муж ее, бывший белый офицер, торговал в киоске газетами. Были они в разводе. С некоторых пор стала она замечать под своими окнами очень высокого красивого и очень молодого человека. Потом он стал издали провожать ее на работу и с работы. Потом организовал так, что в каком-то доме они познакомились, и тут он уже больше не давал ей покоя. Венчаться, венчаться и венчаться. Все ее доводы о том, что он на 20 лет ее моложе, что они едва знакомы, что он эстонец, а она, кроме как по-русски, ни на одном языке не говорит, ни к чему не приводили. В конце концов, не сразу, а года через два они поженились. Познакомившись с ним, я ее поняла. Он был действительно во всех отношениях безукоризнен. Жили они счастливо. Вот этот человек — Эгон Эльмарович Нуде и стал моим начальником в Риге. Благодаря ему мне удалось удрать из Таллинна. Но недолго длилось наше сотрудничество, если можно назвать трудом мое ничегонеделание. Летом 1944 года немцы стали сворачиваться. Семья моего начальника судорожно паковала вещи, а я от греха подальше уволилась, и мы с мужем даже уехали на дачу, благо, его шеф — епископ латвийский Иоанн тоже собирался в Германию и разрешил своему секретарю жить на его даче при церкви в Дубултах. Он даже отдал нам ключи от своей квартиры, но на это уж мы не поехали. Как будущее показало, правильно сделали. Квартира была огромной, и у меня ее просто бы отняли.

Советские войска вошли в Ригу 13 октября 1944 года. А шестого ноября в Епархиальное управление явились два офицера и потребовали выдать им пишущую машинку. Муж был на работе один. Он спросил, по какому праву они забирают машинку. Те только усмехнулись. Он потребовал от них хотя бы расписку в получении, чтобы у него был документ. Они оторопели от его наивности и после длинной паузы приказали ему завтра, 7 ноября, в 12 часов быть в конторе — “и не вздумайте уклониться”. Машинку забрали.

Муж рассказал мне все это, будучи в полной растерянности. Он, как и я, совершенно не разбирался ни в знаках отличия, ни в родах войск и только после ухода военных, вспомнив голубой цвет их околышей, понял, что имеет дело с органами НКВД. Мы решили, что я пойду вместе с ним.

На этот раз старший из них пришел один и заявил, что зовут его майор Сметанин. “А это кто?” — ткнул он в меня пальцем. “Это моя жена.” — “Я же вам сказал, чтобы вы явились один”. — “Сегодня девятый день, как у нас умер ребенок, и ей нельзя оставаться одной”. Он промолчал. Потом сел, задал самые первые обычные вопросы: имя, возраст, адрес и т.д. Все записал и отпустил, потребовав вечером явиться в здание на углу Столбовой и Ленина. Вызывал Сметанин мужа на допросы несколько раз, но не часто. Обвинялся он в сотрудничестве с немцами — самое банальное, что можно было изобрести на скорую руку. Потом вызовы прекратились. Хотелось думать, что на этом все и кончилось.

В ночь с 8 на 9 января 1945 года у наших ворот раздался властный стук. Мы сразу проснулись и уже не сомневались, что это к нам. В наших двух малюсеньких комнатах мы размещались с моим отцом втроем. Я только успела ему сказать, чтобы он с дивана не вставал и спустил пониже одеяло — он все понял. В диване был выдвижной ящик, а в нем 4 комплекта эмигрантского журнала “Перезвоны”. Не к чему им на них смотреть. Пошла открывать. В квартиру не вошли, а ворвались офицер и два солдата с винтовками наперевес с примкнутыми штыками. Так, кажется, это называется. Офицер, небольшого роста, но старавшийся выглядеть очень свирепым, одного солдата оставил стоять у входных дверей, другого поставил в комнату. Предъявил мужу ордер на арест, приказал ему одеться, сесть в кресло и не двигаться. Начался обыск. Бедный мой папа. Бежал от этого в 1919 году и как недалеко он убежал за эти 25 лет. Обыск длился всю ночь до позднего утра. Да! Ворвались они с понятыми — нашей дворничихой и ее мужем. Эти шли неторопливо сзади. Но когда они начали падать от усталости со стульев, их отпустили. Работы было уж больно много. Три полки книг — а их ведь все надо пересмотреть. Повыкидывали вещи на пол — все искали ризы. “Какие ризы?” “Да он ведь у вас поп”. “Нет, он штатский. Он просто секретарь управления”. “Это все равно”. Искали дальше. Риз не нашли. Но нашли самое ценное для мужа — папку с подлинными рукописями русских эмигрантских писателей — Бунина, Шмелева и других. Накануне мы с мужем, считая, что опасность миновала, прине-

сли из сарая спрятанные было там фотоальбомы. Не хотелось запутывать других людей. Вот и пролежали эти два пакета все это время в дровах. Мы их даже в комнаты вчера не внесли, оставили в передней в углу. Сейчас надо было их вынести. Я два раза просилась в туалет (а он у нас был в общем коридоре) и в сопровождении солдата под широким пледом вынесла и спрятала за унитазом оба пакета. После ареста мужа в ближайшие же дни явился ко мне, якобы с изъявлением сочувствия, его школьный товарищ и коллега по корпорации Эрвин. Он хотел узнать, попали ли в руки НКВД его фотографии со шшагой, корпорантской лентой и декелем на голове. Это был бы конец для его блестяще начавшейся карьеры. Успокоился, узнав, что альбомы переночевали в общей уборной, и с тех пор больше ко мне не заходил и на улице не здоровался.

Набрав большой мешок “компрометирующих материалов”, офицер стал писать протокол. Вызвал понятых, а они вместо ужаса перед преступником, принесли ему буханку хлеба и большой кусок масла. У меня дома была только тушеная морковка. Муж потом рассказывал, что когда его привели в камеру, эту морковку вывернули из банки на койку, подстелив, правда, под нее полотенце, единственное, которое он принес из дому. Мне тогда было еще невдомек, что ни банок, ни жестянок отсылать с передачей нельзя. Все должно быть положено в тряпичные мешки. Да. Ушли они уже почти днем. Я позвонила на работу, что сегодня не приду. Еще осенью 1944 года я стала работать рисовальщицей в артели “Выкройка”. Почти все члены артели были наши движенцы. Потому я туда и попала. Четыре сестры Мезис — одна из них жена Вити Караваева, Пимиенко, Мурзо, впоследствии еще и наша таллиннская Мурникова-Подгурская. Художественным руководителем стала Тамара Дмитриевна Литвина. По профессии она была иконописцем. Расписывала в 1930-е годы храм на Елеонской горе в Иерусалиме. А сколько ее икон было потом в Латвии. Ею создан иконостас в храме Кемери. Да мало ли их было, ее работ. В одной Риге сколько. А сейчас Тамара Дмитриевна создавала модели детских и дамских платьев, костюмов, пальто. Сама делала выкройку, сама рисовала к ней картинку. Одни работницы резали по этому образцу сотни выкроек, а другие рисовали картинку. Жили ведь тогда все очень примитивно. Модных журналов никаких не было, и женщины раскупали наши выкройки, чтобы хоть как-то одеться, перешивая старые вещи.

В день ареста мужа к нам пришел Николай Петрович Литвин. Принес мне денег, посидел, повздыхал вместе со мной, утешительно пого-

ворил с папой. Господи! Какую роль он сыграл в моей дальнейшей жизни! Они с женой были мне и опорой, и советчиками, и постоянными заинтересованными слушателями моих отчетов о бесконечных, почти всегда никчемных походах, прошениях, очередях. Ведь иногда так надо выговориться, а у меня в Риге никого не было. Папу загружать всем этим я не могла. Ему хватало молчаливого созерцания моей суетливой жизни. Каждые десять дней можно было сдать передачу. Ходили слухи, что в тюрьме все воруют. Я пыталась воров перехитрить. Варила крутую пшенную кашу, набивала туда для питательности побольше яиц, масла, сахару. Запекала, и такую большую глыбу, завернув ее в тряпку, отправляла. Муж потом говорил, что она всегда доходила. Зачем тюремщикам каша, у них своей хватает. С этой же целью пекла домашний белый хлеб, которым, как потом оказалось, муж в тюрьме менялся на черный тюремный хлеб со своим соседом инженером Каценом, болевшим язвой. Кацены в дальнейшем заи — тоже очень большое место в нашей жизни. Но вообще надо признать, что по сведениям, до нас дошедшим, слухи о воровстве обслуги в тюрьме не подтверждались. Воровали уголовники, но это др — тема.

Их было много, очень много, арестованных именно 9 января. Около полутора тысяч. В основном это была местная русская интеллигенция. Латышей было меньше. В очередях слышна была главным образом русская речь. А очереди были бесконечные. Выходили все из дома после пяти часов утра. За плечами почти неподъемный мешок — там и печеная картошка, и сухари, еще овощи какие-нибудь, лук, чеснок, обязательно копченая грудинка, смена белья, да мало ли еще что. Стояли мы в основном у Центральной тюрьмы. Зима была суровая, снежная. Стояли по 12 часов. Укрыться негде. Рядом просвечивают между деревьями кресты Матвеевского кладбища. Вызывали сразу группу по алфавиту. Пропускали через ворота, и тогда все устремлялись бегом к самой тюрьме. А это далеко. Сейчас едешь мимо на электричке, смотришь на этот бесконечный забор и только теперь понимаешь, как трудно было делать эту пробежку. Но слова “быстрее, быстрее” — самые употребляемые в этих стенах. Сдавали в окошко. Долго, нестерпимо долго ждали ответа. Какое счастье, если тебе сунут обратно пустой мешок. Тогда летим домой как на крыльях. Значит, тут, значит, живы, а может быть, еще и выпустят. Наивные грезы. Никого не выпустили. Гораздо хуже, когда окно открывается и весь твой мешок вышхивается обратно — выбыл. Куда? Когда? Больше ни слова. Завтра с утра (только позднее — в центре ночные патрули) идешь уже на Столбовую к так на-

зываемой внутренней тюрьме. Потом муж рассказывал, что это самое ужасное место, какое ему встречалось. Тюрьма расположена в подвалах этого respectableного, всю ночь горящего всеми окнами дома. В подвалах страшная жара. Сидеть можно — естественно на, полу, только голыми, поджав колени. Сыро от дыхания множества людей как в парной. Утираются полотенцем, но это не помогает. Отсюда и вызывают на допрос. Иногда, намеренно издеваясь, несколько раз за ночь. А бывали и такие случаи. Одновременно допрашивают шесть следователей. Или допрос длится 24 часа. Следователи сменяются, а ты-то один. Подержат недельку — и снова в Центральную. А мы через 10 дней бежим, ни о чем не ведая, во внутреннюю тюрьму. А там после, правда, более короткого стояния, услышишь снова “выбыл”. Так и бе —

Ни на какие встречи со следователем, не говоря уже о высшем начальстве, нас не допускали. Не могло быть и речи. На это был военный прокурор. Один на весь город. Звали его Крахмальник. Был он вежлив, сдержан и очень немногословен. “Ведется следствие. Материалы есть. Будет суд. Ждите”. И так много-много раз. Для того, чтобы услышать эти пустые слова, стояли в очереди целый день.

А тем временем на воле идет своя жизнь. Горше всего, что отвернулись самые близкие мужу люди. С Юрой А. они в школе были как братья. Я с ним тоже успела подружиться. А теперь, встречаясь на улице, в лучшем случае он переходит на другую сторону. В худшем — смотрит в упор в глаза и не здоровается.

Все мы боялись конфискации. Прежде всего надо было разнести по знакомым все книги. Таких людей, которые сами вне подозрения, да еще согласятся принять книги, найти надо было. Чекист не разобрался и оставил все “Современные записки”, “Путь”, “Вестник Движения”. Все парижские издания. Вынести также надо было “Брокгауза и Ефрона”. Не шутка — 86 томов. Энциклопедию я поручила своему свекру. Он был совершенно слепым, но дорогу от своего дома до нашего знал прекрасно, благо, это были раньше его собственные дома. Он и ослеп с горя, когда лишился всего своего состояния. С моим приездом в Ригу поделили с братом мужа обязанности. Три раза в неделю мы кормим их отца, а четыре брат с невесткой. Так это и продолжалось. Надо было думать о приработке. Стала я работать в артели еще и техноруком. Это и заведующий складом, и приемщик работ, и раздатчик. Кроме того взяла еще одну ставку рисовальщицы. В артели мое положение понимали, и никто не протестовал. Но и с этого края грянула беда. Арестовали нашу председательницу — энергичную пожилую даму из “быв-

ших” русских. Артель же помещалась в ее единственной комнате на углу Дзирнаву и Валдемара. Все были надомниками. Приходили раз в неделю. Где найти помещение и нового председателя, не очень занятого человека? В ближайшее стояние у ворот тюрьмы познакомились мы с латышкой, у которой муж тоже сидел. Разговорились. Дальше больше. И выяснилось, что она живет в том же доме, где наша артель, в такой же квартире, только этажом ниже. Она согласилась сдать нам ту же комнату у самых входных дверей, какая была у нас и сейчас. Невероятное везение, не правда ли? Даже переезда никакого. А на другой день мы уговорили ее стать председателем артели. Этот вопрос отпал. Мы работали дальше.

19 февраля 1945 года утром в нашу с папой квартиру позвонили. В дверях стоял цел и невредим мой брат Сергей. Он был призван в Красную Армию 21 июля 1941 года. Не отсиживался в тылу, а командовал противотанковой батареей — это на самой передовой. А сейчас стоял перед нами красивый, возмужавший, нарядный. В белом барашковом полушубке, в светлой меховой шапке. Папа прямо онемел от счастья. Но радость наша была недолгой. В тот же вечер весь их Эстонский корпус должен был проследовать в Курляндию — очищать так называемый Курляндский котел. Я пошла брата провожать. Состав был уже подогнан на Центральный вокзал. Тут же нас окружили дорогие, милые лица. Друзья моей юности. Даже те, кого встречала хоть раз где-нибудь в фирме или в банке, подходили обнять, поздороваться, порадоваться встрече. Правда, настроение у всех было далеко не веселое. Знали, что большинство из них идет на смерть. Немцы были снабжены всем, чем угодно, и выстоять могли хоть год, хоть два. Недаром осенью мимо нашей дачи в сторону Лиепая день и ночь, день и ночь шли обозы с продовольствием, скотом, с оборудованием, с орудиями, с артиллерией, с танками. Чего только там не было. Уйти им было теперь некуда. Оставалось биться до конца. Они и бились. Даже после 8 мая продолжали драться не на жизнь, а на смерть.

А наутро в очереди у тюрьмы я стояла мрачная, завернувшись по глаза в свой темный плед. Была снежная буря, да и радоваться было нечему. Подошла ко мне молодая красивая латышка. Спросила по-русски: “Что-нибудь случилось?” Я, как застояв — ся конь, которому отпустили поводья, тут же, не останавливаясь, рассказала ей и о маме, и о дочери, и о брате, и о муже. С этого дня мы жили с ней всю н — безмужную жизнь душа в д —. Я думала о детях, а у нее были два таких славных мальчика. Девочке годик, мальчику четыре. Мать ездила постоянно

по деревням — выменивала всякие мелочи на продукты, а я оставалась с детьми. Девчонку на руки, мальчику дам листок бумаги и вместе рисуем мои картинки для выкроек. Как-то — это уже через год, наверное, моя подопечная притихла в комнате. Стало мне в кухне неуютно. Вбегаю, а она сидит на комодe, в руках вазочка со всякими мелочами, а сама что-то грызет. Зубки у нее были отличные. Сюю на всякий случай палец в рот. Обо что-то царапаюсь. Захватываю побольше — стекло. Защекой патрон от маленькой лампочки. Хорошо, все проволочки целы. Чищу как могу. Полоскать рот еще не умеет. Потом начинаю запикивать в нее мякиш черного хлеба с вареньем. Долго запикиваю. Она смеется и ест. Редко достается так много сладкого сразу. Я в полнейшей панике. С ужасом думаю, что я скажу, как посмотрю на мать? Хороша нянька. Но Ирма приезжает удрученная своими заботами. Ехала на открытом грузовике, и весь ее с таким трудом выменянный лук померз. Как тут не заплакать. И я еще со своим вздором. Ну сгрызла и сгрызла. Большое дело. Дело, действительно, последствий не имело.

Я, когда бываю дома, рисую при свете коптилки. Стеклянная чернильница, наполненная маслом, а в нем плавают поплавок с фитилем. Что-то вроде лампадки. Ведь немцы ушли, оставив Ригу без электричества, без воды, без отопления. Меня часто затаскивают к себе Литвины. Тогда мы экономим масло — рисуем с Тамарой при одной коптилке. У них сынок — прелестный курносый трехлетний мальчуган. Так хорошо подержать его на руках, рассказать сказку. Уютно, тепло, сытно. Николай Петрович работает в Заготзерно — там служащим иногда что-нибудь перепадает. В таких случаях моя передача мужу разнообразится еще чем-нибудь. Нередко я остаюсь у них ночевать. Трамваи не ходят. А мне от них до дома часа полтора — два ходьбы.

Стоял студеный февраль. 28-го день рождения маленького Коти Литвина. Мы с его родителями втроем торопимся к ним за Двину отмечать праздник. Сообщение — пешком. Мосты взорваны. На реке тут и там протоптаны по снегу тропинки. Я этаким серной сбегая с берега на лед. Вижу перед собой лужу, но до меня не доходит, что значит лужа на замерзшей реке. Это даже не лужа, а снег на льду, перемешанный с водой. Я, несмотря на свои низкие кало —, храбро с разбегу ступаю в эту кашу и оказываюсь в воде. Над водой остается голова и одна рука с большим портфелем мужа. Этот портфель меня и спас. Его плоская поверхность не пустила руку под лед. Тело мое подо льдом начинает принимать горизонтальное положение. Чувствую, что меня уносит течением. Только тут до сознания доходит, что попала я в полы-



Николай Петрович и Тамара Дмитриевна Литвины. 1955 г.

нию, что Двина — река судоходная и в этом месте к берегу подходят суда. В тот же момент быстро соображающий Николай Петрович Литвин обегает польню, ложится на лед и потихоньку ползет ко мне. Все это вопрос секунд. Он с большим риском для жизни подползает ко мне и хватает меня — не помню уж за руку или за портфель. Его пример вдохновляет еще одного прохожего, а их вокруг собралось уже много. Он проделывает то же самое. Общими усилиями они меня вытаскивают на поверхность. Я успела промокнуть до костей. Тамара предлагает бежать к ее подруге Люсе Знотынь. Это самое близкое для нас сейчас прибежище. Она живет в старом городе. Я моментально вся покрываюсь льдом и в этом панцире стараюсь бежать как можно скорее. С трудом, все трое совершенно задохнувшись, добегаем. Но Люси нет дома. Ищем квартиру дворника. Стучим. Тамара объясняет, что мы друзья Знотынь. Нас сразу впускают. Дворничиха отводит меня в ванну. Срыгает все, что на мне одето. Закутывает в свой халат, и в это время появляется Эльмар — муж Люси. Он тащит нас всех к себе наверх. Меня укладывают в постель. Кладут на меня все одеяла и пальто, какие есть в доме, а Эльмар (это мое спасение) насильно вливает мне в рот

полчашки спирту. А может быть, и больше. О дальнейшем я уже ничего не помню. Сплю мертвым сном до утра. Все мои вещи, кроме платья и белья, высохнуть к утру не успели. Люся дает мне свое пальто, какие-то туфли. И я благополучно прихожу домой. Даже насморка не было у меня после этой эскапады.

Папа живет по существу один. Днем я или на работе, или в очередях. Мы почти не топим, дрова кончаются. Света нет. Как он выдерживает эту муку? Стоический мой папа. С какими мыслями лежит и днем и ночью под своими одеялами? Надо доставать деньги, но как? Подворачивается случай. Как-то на улице подходит ко мне солдатик и предлагает купить велосипед. Точно не помню, но, кажется, совсем дешево — немного деньгами и две бутылки водки. Водку дают только по талонам. В буфете у нас стоят две бутылки. Я соглашаюсь. Это недалеко от дома. Он несет мне велосипед наверх. Оставляю его ждать в коридоре и выношу водку и деньги. Он сбегает с лестницы. Я увожу велосипед в квартиру. Потом договариваюсь с братом мужа — у него золотые руки, он все может сделать и делает отлично. Велосипед он мне передает как новенький, блистающий свежей краской. Я веду его на базар и моментально продаю за сказочную для меня сумму. Папа ворчит, что эти авантюры до добра не доведут. И он прав.

Как-то уже много времени спустя поздно вечером сижу в тепло натопленной кухне — дрова мы купили — и рисую картинки. Стучат. Я, думая, что это дворничиха, кричу — входите, открыто. Почему дверь у меня стояла так легкомысленно открытой, я сейчас уже не понимаю. Входит какая-то фигура. Вернее, не фигура, а сугроб снега. Я его быстро возвращаю в коридор отряхнуться, и вот появляется человек в шинели и сером ватнике с совершенно багровым от мороза лицом. Задеревеневшими губами просит разрешения отогреться. Я веду его поближе к горячей плите. Наливаю одну тарелку горячего борща, другую. Он молча ест. Потом долго пьет чай. Благодарит, отодвигает чашку. Я рисую. Отогревшись, он начинает интересоваться, что за рисунки, кто я, с кем живу. Я отвечаю. Так мы сидим долго. Иду к папе. Надо же ему объяснить, что происходит. Он снова говорит о моей склонности к авантюризму. Следи, чтобы он тебя не обворовал. А что у меня воровать? Проходит еще какое-то время. Гость меня уже зовет Марией, я его Ваней. Он сидит. Я рисую. Потом он робко просит оставить его ночевать. Такая пурга, такой холод, а ему идти еще очень далеко. Я иду в комнату за тюфяком. Тут уже папа впадает в негодование. Он же нас подождет, все вынесет. Я обещаю,

что закрою квартиру на оба замка и ключи возьму с собой. На этом и останавливаемся. Ваня ложится, подложив под голову какой-то мой мешок с тряпками, закрывается своей курткой, и я иду спать. Утром нахожу его уже одетым, умытым. Тюфяк аккуратно свернут. Что-то мелькает знакомое в его фигуре, но не понимаю еще что. Пою его чаем и говорю, что мне надо идти на работу. И тут мой Ваня вынимает из гимнастерки — теперь-то при свете я вижу, что он солдат, вынимает какую-то бумагу, написанную лиловыми чернилами, долго смотрит на нее, рвет на несколько частей, а обрывки сует в карман. Я все еще ничего не понимаю. Он объясняет: “Я тут с плохим пришел к тебе, Мария, ну да не получилось. Ты вот с борщом, с чаем. Ничего не спросила, ни кто я, ни зачем. Двери у тебя стоят открытыми... Что уж там. Извиняй меня, Мария, и спасибо тебе, а я пойду”. И уходит. И тут только меня осеняет, что это тот самый солдат, что продал мне велосипед. Наверное, это было казенное имущество. Может быть, он пришел, чтобы отнять его от меня, или шантажировать. Да мало ли что могло быть. Иду и рассказываю папе. Он только крестится. Я потом еще раз видела своего Ваню. Как-то на базаре, когда была облава, он стоял в цепи. Но он меня не видел. А может быть, не захотел увидеть.

Теперь мне думается, что все это происходило уже в конце 1945 года, но какая разница. Что было, то было. А хронология в этом случае не так и важна.

А мы вернемся к весне 1945 года, а именно к 20 апреля. Стоим в очереди в огромной совершенно пустой комнате ожидания в прокуратуре на Ганибу Дамбис. В центре комнаты маленький столик, на нем большая, тяжелая конторская книга. А на стуле перед книгой молодая секретарша. Вокруг нее до самой двери плотной спиралью стоит очередь. Все на одно лицо. Все серые, увядшие, с усталыми безнадежными лицами, молчаливые, хмурые. Прежде мы разговаривали, теперь молчим. Я пришла очень рано и довольно скоро оказываюсь уже около секретарши. За своей спиной она держит нас на дистанции — должно быть, чтобы мы не заглядывали ей через плечо в книгу, мелькает у меня мысль и уже меня не оставляет. Вот я напротив нее — еще два человека, и моя очередь идти к прокурору. Тут она встает и выходит. Идет по — нному коридору, слышно только, как стучат ее каблучки. Значит, у меня есть время. Здесь же все свои, никто не предаст. Я быстро схватываю книгу, поворачиваю к себе, судорожно нахожу букву “П”. Вот: “Плюханов Б.В. 1911 г. 21 апреля будет отправлен в Больш.

Лаг.”* Она идет. Еле успеваю повернуть книгу. Все молчат. Почти сразу же попадаю к прокурору. Он лениво цедит сквозь зубы все те же слова: следствие, суд. А сам перелистывает свою книгу. Вдруг, заметив, я-то знаю что, говорит уже другим голосом: “Но поскольку тюрьмы переполнены, то, может быть, нам и придется собрать где-нибудь выездную сессию. Тогда для этого некоторые заключенные будут отправлены туда”. Все ясно. Все подтвердилось. Я бегу стремглав на работу. Сегодня 20-е, а их отправят 21-го. Времени практически нет. Сама отпечатываю бумажку, что завтра меня отсылают на две недели на лесоразработки. Моя товарка по беде, наш председатель, ставит печать и свою подпись. Бегу дальше. Нужны деньги. После двух неудачных попыток получаю от одноклассницы мужа Иры Бот нужную сумму. Бегу на базар. Не торгуясь, беру 2 кг копченого шпека, луку, чесноку и у спекулянтов сахару. Мчусь домой. Объясняя папе в чем дело, вытаскиваю давно купленный ватный бушлат и такие же брюки, новые хорошие валенки, беру наше самое хорошее шерстяное одеяло, заготовленные заранее черные сухари. Погружаю все это во все тот же мешок, добавляю только что купленное — и знакомой дорогой в тюрьму. Уже половина шестого, они работают до шести. Сегодня неприемный день, но я так взволнованно и, мне кажется, убедительно говорю все солдату в будке, что он, вопреки всем ожиданиям, меня пропускает, правда, проверив мой паспорт и мой новоиспеченный документ. Мчусь вдоль забора с одной только мыслью — только бы приняли. Долго стучу. Окошко открывает еврейка, которая говорит всегда отрывисто и резко, но в ее лице есть что-то человеческое. Я так волнуюсь, что с трудом объясняю ей суть дела. Я уезжаю, а вдруг за это время его увезут, а у него ничего — ни еды, ни теплых вещей. “Почему увезут, куда увезут? — набрасывается она. — Откуда такое? Ждите своего дня, тогда и принесете”. Я снова умоляю, почти плачу. Руки трясутся — очень устала. Не могу уже сдерживаться. Обычно я так себя не веду. Задевает ее мой довод, что сейчас мне уже не унести отсюда этого мешка. Она неохотно его берет и уходит. Я успеваю ее попросить оставить ему мешок. Она возвращается, как мне кажется, очень скоро и с пустыми руками. Это похоже на чудо, но это так. Через много-много лет, еще в советское время я встретила эту женщину на улице. Подошла к ней и стала благодарить. Она меня не помнила, а я все благодарила и благодарила, а она улыбалась милой женственной улыбкой.

* В книге было написано именно так - Больш. Лаг. Но такого официального названия не было.

Теперь бегом к Ирме. Если повезут моего мужа, то, наверное, и ее ждет та же судьба. Уговариваю ее завтра с раннего утра засесть на Матвеевском кладбище. Теперь же апрель — тепло. Так мы сможем увидеть своих. Она соглашается. Все утро мы ждем. Тщетно. Она остывает к этой идее: “Ты что-то напутала”. Я тоже ухожу. Надо кормить папу, сдавать работу, объяснить все Литвиным. Решаю, что среди бела дня никого везти через город они не будут. Приду сюда на ночь. Но и ночью ничего не происходит. Так проходят три ночи. Только 24 апреля с рассвета вокруг тюрьмы замечается суeta. Проходят военные с собаками. Все. Значит, сейчас. Но жду еще много часов. Наконец ворота открываются настежь. Сквозь них видна бесконечная черная толпа. Ухожу на кладбище. Впереди и по бокам колонны плотным кольцом идут военные. Кроме них вокруг другие, уже с собаками. Колонна медленно движется к кладбищу. Идут они плотным массивом по 8 — 10 человек в ряд. Трудно различить лица — все опухшие, серые, безжизненные, ни у кого нет своих черт лица. Кладбище от дороги довольно далеко, но мне удастся узнать мужа, может быть, по большому светлому мешку, который он несет за спиной. Я выбегаю к дороге, машу ему, он меня видит и крестит мелким крестом. Тут же возникает офицер с собакой. Кричит совершенно диким голосом, как будто у меня в руках граната: “Вон отсюда, сейчас же вон, минута, и я стреляю!” Иду параллельно колонне, но по кладбищу. При повороте вижу то, чего здесь раньше не было. На рощах стоит длинный красный товарный состав.

А колонна тем временем останавливается перед поездом. Раздаются неслышные мне здесь команды. Заключенные поворачиваются лицами к поезду и... но что же это? Все как один они становятся на колени. И так стоят. Стоят долго, пока их считают и пересчитывают и снова считают. А они все, как потом мы узнаем, 1400 человек, все, кого взяли 9 января 1945 года, стоят на коленях. Потом у дверей теплушек становятся конвойные, и их снова по счету начинают грузить в товарные вагоны, или, как еще называют, в вагоны для перевозки скота. Как только вагон полностью загружен, его запирают. Я бегу на другую сторону путей, там нет охраны, и, пробегая у каждого вагона, зову мужа по имени. Он нигде не ответил. Ответом были только треугольники с адресами — письма, которые, услышав человеческий голос, арестанты выбрасывали сквозь щели между досками. Поезд уходит. Ко мне обращается очень милая семья — мать с двумя взрослыми дочерьми. Этот мир им чужд — они просто на кладбище. Ни о чем таком, связанном с арестами и увозами, не слыхали. Они предлагают мне помочь в доста-

вке писем. И я отдаю им всю эту кипу. Мне сейчас это действительно не под силу. А они с открытым сердцем хотят хоть что-то сделать. Спасибо им.



Доктор Клавдия Николаевна Бежаницкая. 1969 г.

В моей жизни наступило некоторое затишье. Передачи отпали. Походы к прокурору за справкой ни к чему не приводили. Пришла Победа, но рядом с огромным облегчением и радостью жила и горечь. Где-то они все, угнанные? А рядом надежда на амнистию — теперь-то властям чего бояться?

1 июня 1945 года через Ригу проходил после тяжелых боев в Курляндии

Эстонский корпус. Брат, уцелевший и в этой мясорубке, сообщил, что будут они проходить по улице Ленина и чтобы мы с папой ждали его на углу Таллинас. Может быть, ему удастся вырваться. И вот мы стоим на углу. К мостовой пробиться невозможно. Все панели с двух сторон буквально забиты восторженной толпой. Все улыбаются, все сияют, у всех в руках цветы, которые они бросают проходящим и проезжающим

военным. Идет техника, идут танки, пехота — весь корпус, вернее, та часть корпуса, которая от него осталась.

Теперь говорят, что здесь только немцев встречали с восторгом, а перед советскими войсками закрывали окна и двери. Откуда же эта ликующая толпа на всем пути следования войск с фронта после Победы?

Брата действительно отпускают на два дня. Предполагается остановиться на отдых в Саулкрасты — это в 40 километрах от Риги. Там брат найдет свою часть. Мы все трое наслаждаемся этим дарованным нам праздником.

А в середине лета пришла открытка от мужа. Сообщал, что доставлены они все на станцию Половинка в Молотовской (прежде Пермской) области, где сами строят себе лагерь. И адрес. Стала посылать туда письма и книги. С посылками было труднее. В Риге их не принимали. Надо было искать какие-то другие пути. Приехала ко мне из Тарту Клавдия Николаевна Бежаницкая. Удивительный человек. Одна из первых в России женщин-врачей, без устали работавшая по специальности в Тарту. Всеми ценимая и всеми уважаемая. Это она создала в Тарту службу фтизиатрии. Без конца лечила, а вылечив, еще помогала встать легочным больным на ноги. В 1940 году расстреляли ее зятя — Ивана Аркадьевича Лаговского. А дочь ее Тамару вывезли в Сибирь. Мать изыскивала всякие способы, чтобы отправлять ей посылки, да и не только ей, а всем, кого она знала или даже о ком только слыхала. Предложила и мне взять пакет для Бориса Владимировича. Она ездила из Тарту в Печеры и отправляла оттуда сразу целую партию посылок. А в Латвию приехала, чтобы найти семью своей знакомой. Та работала под Ригой на селекционной станции, была арестована и вывезена. Клавдия Николаевна приехала за ее двумя детьми и престарелой сестрой с тем, чтобы отвезти их к себе в Тарту: “Почему же нет? Квартира у меня большая, заработок приличный. Дети будут там учиться, а здесь они без присмотра, тетка ни к чему не приспособленная, жить им не на что”.

Мало того. Дочь Клавдии Николаевны, не помню в каком году, вернулась. А когда в 1949-м за ней, а теперь уже и за Клавдией Николаевной пришли снова, доктор, уже очень немолодая, потребовала, чтобы с ней вместе взяли и всю эту семью — и девочек, и тетку. Она будет их и в ссылке содержать, а здесь они пропадут. И содержала, и вырастила. Вернулась из ссылки по-прежнему бодрая, всегда со сверкающими, смеющимися глазами, всех умевшая понять, приласкать, подбодрить.

Так проходит для меня год. Редкие треугольники от мужа, мои письма, бандероли, от времени до времени посылки. Он работает нарядчиком в лагере, т.е. в зоне. Избавлен таким образом от рубки леса в эту морозную на Урале зиму. Потом он рассказывал, что жилось в лагере очень уж тяжело. Кормили плохо. Посылки, и то нечасто, получали единицы. Труднее всего приходилось латышам-крестьянам. Они привыкли к жирной обильной пище и лагерного пайка не выдерживали — умирали. Рассказывал муж страшную историю, как он сидел на своей койке и обгрызал косточку грудинки. К нему подошел такой крестьянин и попросил, чтобы муж, ну совсем уже очистив косточку, дал бы ее ему, он будет грызть понемногу, сгрызет до конца — она ведь и пахнет еще. Открыто было у них свое лагерное кладбище (между собой называли они его Макарьевским или Мартыновским — не помню. По имени начальника лагеря). Оно очень уж быстро разрасталось.

А летом 1946 года появился в Риге один из насельников этого лагеря некто Колосов. Он был известным в Риге крупным огородником в районе улицы Висвалжу. Я поддерживала связь с его женой, как и со многими другими товарками по очередям. Он весело, все время улыбаясь от счастья, что вырвался, рассказывал о лагере, о моем муже, о всех их злоключениях. Рассказал, кстати, о том, что о Дне Победы они узнали, сидя в красном вагоне своего состава, остановившегося на какой-то узловой станции. Весь вокзал гудел от криков “Ура”, “Да здравствует Победа”, “Мы победили — ура”. Обслуга не соблаговолила им об этом событии сообщить.

Оказывается, что прокурор не солгал. В лагерь на Половинку действительно приехала, правда, только через год, выездная сессия и медленно день за днем стала разбираться в делах. Колосов, как неработающий инвалид, попал одним из первых, и его освободили. Потом в Риге появилось еще несколько человек. Среди них и Карл Карлович Кацен; помните, я говорила, что муж меняется с ним в тюрьме хлебом. Мы с его женой за это время подружились. Оба они были уже очень пожилыми. Он в двадцатые годы ездил в Нижний Новгород как иностранный специалист — строил какой-то завод. В связи с ними мне хочется вспомнить совершенно фантастическую историю. Как-то жена Кацена уговорила меня пойти к гадалке. Пошли. Простая латышка сидела в скромной комнате за столом и гадала на картах. Эмме Людвиговне сказала, что муж ее вот-вот должен вернуться. Придет к ней на работу за ключами от квартиры. А меня предупредила, что будет много забот с документами. Что муж вернется, но больной и что жить мы бу-

дем с детьми в белом домике среди большого зеленого сада. Когда мы вышли, Эмма уверенно заявила, что она не допустит, чтобы муж шел к ней на работу за ключами. Она будет каждый день встречать московский поезд, который тогда был единственным и приходил рано утром. И встречала, а до того топила для мужа ванну. Готовила завтрак. Но не подгадала. Муж приехал, правда, через Москву, но каким-то разовым, непредвиденным маршрутом и прямо с вокзала пришел к ней на работу за ключами. Да и со мной все совпало. Оказалось, что у Каценов уже годы стоит на взморье пустая дача. Белый дом, окруженный большим садом. И когда я очень серьезно заболела, они предложили нам с мужем там пожить. Так мы и прожили в этой благодати бесплатно около 20 лет. Там и вырастили детей. Да, так вернемся назад к лету 1946 года.

Ко мне возвращается из лагеря письмо с пометкой — адресат выбыл. Бегу к дежурному в НКВД — он, как всегда, наверх не пускает. Иду к прокурору — ему ничего не известно. Господи! Что же делать, где мне его искать? Бегу к Колосовым. Он незаметно для себя стал центром, куда сходились все сведения о вернувшихся и о том, что делается на Половинке. Оттуда приехал еще один освобожденный. Рассказывал, что комиссия работает, что большинству дают 5 лет лагерей. Попутно вспоминает, что к ним привезли одного заключенного из Молотовской тюрьмы. Он рассказывал про Плюханова, что его надо спасти, иначе он погибнет. Это все, что я узнала. Из этих слов я поняла, что муж уже не в лагере, в молотовской тюрьме. Еще у Колосовых решила, что поеду в Молотов (Пермь). Но легко решить, а как это сделать? Отпуск мне в артели дадут. Но нужны большие деньги. Дорого стоят билеты. Придется остановиться в Москве. Мало ли что случится в дороге, неизвестно, сколько придется прожить в Молотове, и в нем ли одном. Кроме того нужно везти передачу для мужа, обновить его поистершуюся одежду. Да мало ли что мне еще предстоит.

А пока надо заняться другим. Надо собрать доказательства его невиновности. Хуже всего, что я не знаю, в чем его обвиняют. Иду к нашим друзьям Потемкиным, вернее, вопреки многим, моими друзьями они стали уже после ареста мужа. Бывало и такое. Не все отворачивались. Валя сразу же соглашается написать характеристику на Бориса Владимировича, которого она знает с детства. Иду к Председателю Епархиального Совета отцу Николаю Македонскому. Это уже не так просто. Он не имеет права давать никаких официальных бумаг в адрес НКВД. Уговариваю его два вечера. Наконец приходим к выводу, что он может написать свое личное сообщение на бланке Совета. А речь идет о том,

что муж поступил к ним, спасаясь от мобилизации, чтобы получить бронь и не идти воевать против своих. На другой день эта бумага, написанная дрожащим старческим почерком, у меня в руках. Да простит меня Бог, что я так мучила батюшку — ему ведь было, кажется, 80 лет. Жильцы дома, где я живу, все латыши, сами предлагают мне написать за их подписями бумагу, в которой они удостоверяют, что во время оккупации никаких немцев у нас не бывало, всячески расхваливают моего мужа. Такую же бумагу дают мне жильцы дома, где муж прожил всю жизнь.

Здесь я вернусь к лету 1944 года, когда мы жили на епископской даче, а немцы собирали свои пожитки. В это время ими была объявлена последняя мобилизация. Друг моего мужа с первых лет школы, самый близкий его товарищ и шафер на нашей свадьбе Валя Р. позвонил мужу на работу и попросил о встрече. Выяснилось, что он подлежит мобилизации. Помощи ждать неоткуда. Вся надежда на нас. Мы живем на даче. Квартира стоит в Риге пустой. Валя мог бы в ней прожить хотя бы до осени, а там поглядим. Переговорив дома, муж уже на завтра поздно вечером ведет Валою к нам. Устраивает его. Предупреждает, что внизу слышен каждый шаг, что уборной (она в общем коридоре) пользоваться нельзя. Воду из крана тоже пускать нельзя. Муж будет приходить через день и все устраивать, а также носить еду. Так все и происходит. Только уже в октябре дворничиха утром рассказывает мужу, что в нашей квартире творится что-то неладное. Ночью была гроза, и она видела, что окно у нас в комнате стояло распахнутым, а сейчас оно плотно закрыто. В тот же вечер муж отводит Валою к ним на огород, где есть маленькая будка, в которой можно переждать до прихода советских войск. Они уже под самой Ригой. 13 октября Валя счастливым выходит на волю, жена его не знает, какими словами нас благодарить.

Это маленькое предисловие к моему походу к Вале. Здесь уж я никак не ожидала отказа. Мне нужно было, чтобы Валя письменно подтвердил, что скрывался у нас в квартире от немцев столько-то времени, спасаясь от мобилизации.

Прихожу. Надо сказать, что все это время, пока я была зачумленной, я ходила только к самым близким людям, где я знала, меня примут с открытым сердцем. В семье Вали я не бывала. А тут явилась и сразу почувствовала, что хозяйка приняла меня в штыки. Я высказала свою просьбу. И тут полилось. Жена Вали кричала на меня и даже топала ногами.

“Ваш муж погиб, и все это понимают. И Юра (это тот, что смотрел мне в глаза и не здоровался), и Эрвин (а этот проверял когда-то, где находятся альбомы с его фотографиями), все, все понимают, только вы одна слепая и ничего не хотите вокруг себя видеть. Вам мало, что вы потеряли своего мужа, вы хотите, чтобы и я осталась вдовой?”

Валя сидел на диване, опустив голову, и ни словом ее не остановил. Я молча ушла. На другое утро пришла ко мне мать Вали и лишь в других выражениях повторила все, что накануне сказала мне ее невестка. Но что было не то что простительно, но в какой-то мере понятно у той, то было недопустимо у этой. Родители Вали были очень интеллигентными людьми. Отец был известный в Риге адвокат. У них была латышка-прислуга. На ней-то и женился злополучный Валя. От матери же его



Людмила Андреевна Знотынь-Ривош. 1930-е годы.

я могла ждать другого отношения.

В трудную минуту нам всем свойственно искать опору. Я пошла искать ее у ставшей теперь уже моей приятельницей Люси Знотынь. О ней и о ее муже Эльмаре я уже упоминала в связи с моим купанием в Двине.

Я все время позволяю себе отступления от рассказа об аресте мужа. Но о Люсе Знотынь и ее муже Эльмаре я не могу не рассказать. Люся была одной из немногих знакомых мужа, которая встретила меня, приехавшую из Таллинна чужачку, с открытым сердцем. Высокая красивая блондинка, с удивительного цвета золотистыми глазами, умница и остроумница — она всюду была душой общества. Тогда я не догадывалась, что она, бедная, успела перенести. Повествуя о своей жизни в Риге в 1940-м году, я упоминала о переводчице нашей советско-германской комиссии Соломоне Давыдовиче Лихтенберге. Человек очень маленького роста, но очень пропорциональный, хорошо одевавшийся, умный, знавший множество языков, он совершенно покорило сердце мое и моего начальника, и мы вечерами все втроем нередко подолгу гуляли. И вот только теперь, когда я оказалась в беде, Люся, должно быть, желая меня отвлечь от назойливых мыслей, поведала мне повесть своей жизни. Довольно много лет назад она по газете познакомилась заочно с молодым человеком. Они стали переписываться. Переписка эта перешла в тесную дружбу, а потом и в любовь. Только кавалер ее категорически отказывался встретиться, отшучиваясь, что им и так хорошо. Долго это длилось. Наконец Люся настояла, и в один прекрасный летний вечер они условились встретиться на Бастионной Горке. Каков же был ужас Люси, когда навстречу ей с цветами в руках поднялся со скамейки очень, уж очень маленький человек и взглянул на нее, высокую и склонную к полноте, глаза, в которых было только одно отчаяние. Люся улыбалась и не показала и виду, что что-то не так. Они долго просидели на этой скамейке, разговаривали, молчали, снова разговаривали, всячески избегая болезненную тему. И продолжали встречаться, и решили жениться. Представляете себе? Но тут наступил 1940-й год, было как-то не до женитьбы. За это время они еще крепче привязались друг к другу. Вот-вот начнется война. Это уже носится в воздухе. Гитлер собирает последних немцев из Прибалтики. Соломону Давыдовичу в советском постпредстве настойчиво предлагают уехать в глубь Союза. Но у Люси старик отец — латыш — его не увезешь, а Соломон легкомысленно рассчитывает, что у него такие замечательные отношения с немцами, членом советско-германской комиссии — они его выручат. И действительно, первым, кто приезжает в Ригу после начала войны — это Дюльфер — руководитель немецкой делегации в Комиссии, а теперь человек, занимающий большой пост. Лихтенберга арестовывают. Люся устремится к Дюльферу. Он обещает сделать все возможное. Соломона отпускают. Они снова с Люсей. Но длится это недолго. За ним приходят, и на этот раз он прощается с ней навсегда.

А теперь об Эльмаре Ривоше. Он живет в Риге с женой, двумя маленькими детьми, тещей и тестем. Эльмар — скульптор. Не выдающийся, но талантливый. Они евреи. Входят в Ригу немцы и приказывают всем евреям съехаться в гетто, которое для них очень быстро подготавливается на Московском форштадте. Те, кто разворотистее, едут сразу, находят себе жилище, устраиваются. Эльмар едет одним из последних. Находит какой-то дом-не дом, сарай-не сарай. Но он мастер на все руки. Прежде всего сам кладет печь, делает пол, кроет крышу. В печь он замуровывает все немногие драгоценности семьи. В это жилище он и перевозит своих. Работоспособных мужчин, нацепив на них звезду, отправляют на строительные работы. Эльмар вечерами приходит поздно. Старается ни о чем не думать. Но это не удается. Как-то придя домой, он не находит стариков. “Их увезли, — говорит жена. — Всех стариков увезли”. Теперь-то мы знаем, что увезли всех на расстрел. Через некоторое время Эльмар, вернувшись с работы, нашел дом пустым. И мать, и детей тоже увезли. На следующий день он скрылся с работы, сорвал с одежды звезду, замазал следы их снегом, дошел как-то до квартиры своего бывшего подсобного рабочего, и тот его приютил. Хоть и не очень охотно. Но между ними была такая предварительная договоренность. В наскоро оборудованной в подвале мастерской Эльмар ваял маленькие гипсовые фигурки, а хозяин его Рудольф их как-то реализовывал. Немецкие солдаты падали на сувениры. К Рудольфу заходили — вышить квартировавшие рядом немецкие военные. Одному из них не понравился “родственник” Рудольфа. Видно что-то показалось ему подозрительным. И Эльмар ушел в 5 часов утра — не знаю куда. Было еще темно. Дворники подметали улицы. Он вспомнил чьи-то случайные слова, что в доме по улице Лаплеша 22 очень хорошая дворничиха-баптистка. Это было недалеко. Пожилая женщина действительно мела улицу. Он подошел к ней и сказал: “Я еврей. Мне некуда деваться. Спрячьте меня”. Она, опершись на метлу, задумалась. Потом сказала — пойдём. Повела его через двор, а затем в подвал. Ввела в какой-то сарайчик и ушла, заперев дверь. Куда она пошла? А вдруг за полиция? Но она вернулась, принесла тюфяк, потом одеяло, потом ведро. И стала его кормить, поить, за ним убирать. Эльмар переквалифицировался на сапожника. Дворничиха обеспечивала его клиентурой из своих собратьев по вере — баптистов. От них же он получал старую обувь, которая шла на материал для почи—. “Так он прожил очень, очень долго — годы. Он заскучал. Захотелось поговорить с интеллигентным человеком, узнать, какая обстановка, на какой стадии война, на чьей стороне перевес. По-

просил старуху сходить по такому-то адресу и отнести записку подруге его погибшей жены. Латышке. Это была Люся. Люся стала к нему приходить, приносить новости, подкармливать. А когда война кончилась и Эльмар вышел из своего убежища, они поженились.

Вот к Люсе я и направилась после истории с Вале́й. Люся прежде всего накормила меня супом, а потом только выслушала мой рассказ. Рассказ пришлось повторить, потому что вскоре пришел домой Эльмар. Когда я собралась уходить, Эльмар попросил меня зайти завтра к вечеру. Я пришла. Меня ждала бумага на бланке Союза художников Латвии с печатью и всеми подобающими подписями. В этом документе, адресованном органам НКВД, Эльмар писал, что когда он сидел, скрываясь от немцев в подвале, к нему приходила Людмила Знотынь и рассказывала о Борисе Плюханове, как о сугубо просоветском человеке, который терпеть не мог немцев и не мог дождаться победы Красной Армии. Вы представляете, что сделал человек, который никогда моего мужа не видел, а знал о нем только от своей жены.

Забегая сильно вперед, доскажу повесть Эльмара до конца. Жили они счастливо. Родилась у них дочь. Все бы хорошо. Но жили скудно. И решился Эльмар после долгих раздумий на рискованный шаг. Пошел в свой домик в бывшем гетто. Там жили, конечно, уже другие люди. Приняли его хорошо. Он рассказал, что жил здесь с семьей, что сам все построил и попросил разрешения немного покопаться в печи: "Поскольку сам делал, так же все и восстановлю". Ему позволили. Он вынул свою коробочку, поблагодарил, не знаю, дал ли им что-нибудь из этих вещей или нет, никогда не спрашивала, и ушел. Стал по одной вещичке продавать на черном рынке. Через некоторое время за ним пришли. Вещи он успел перепрятать, и обыск ничего не дал. Но его увели. Держали долго. Если не ошибаюсь, несколько месяцев. Потом пришли без него. Уверенно направилась туда, где лежала коробочка, по моим представлениям, не такая уж ценная она и была — не были никогда они богатыми. Потом также уверенно пошли в комнату Люсиного отца и забрали у него из тайника все его золотые монеты царского времени. А он-то ведь к гетто и к тому кладу никакого отношения не имел. И только после этого Эльмар вернулся. У него были постоянные невыносимые головные боли. Видно, применяли никому нам неизвестные способы воздействия. Если уж он рассказал не только о своих вещах, но и монетах тестя, значит, меры были изощренные. Он промаялся несколько лет. Много раз пытался кончить жизнь самоубийством. Потом, когда у него констатировали опухоль в голове, Люся отвезла его в Кремлевскую больницу. После операции он умер.

Но это все произошло гораздо позже, а мы с вами остановились на середине лета 1946 года. Поступок Эльмара — его письмо в НКВД — поступок по тем временам героический, вдохновил меня на новые действия. Я позвонила Вале на работу и сказала ему буквально следующее: “Сегодня по окончании рабочего дня вы, не заходя домой, придете ко мне по адресу (даю адрес артели). Жду вас после шести часов. Все”. Он пришел. Я посадила его к столу, дала лист бумаги, ручку и, ни о чем не предупреждая, продиктовала текст его заявления в НКВД. Потом сказала, что завтра он пойдет или в отдел кадров, или в профком и заверит там свою подпись, попросив поставить печать. Завтра же после работы принесет этот документ сюда. Он забрал бумагу, поклонился и вышел. На другой день он, придя точно в срок, передал мне подписанную по всей форме бумагу. Мы не обменялись ни словом. Только, уходя, он поцеловал мне руку.

Так. Это задание выполнено. Теперь надо подумать о деньгах. Это более чем сложно. Сбережений у меня, естественно, нет. Вещи на продажу? Их как будто тоже нет. Но кое-что я набираю. Мамины слегка уже поношенные туфли, мои такие же, два моих бальных платья — оба до полу. Какие-то потрепанные дамские сумочки, веер, столько лет пролежавший в мамином комод. Привезла его, как п — ть о ней. Какие-то обрывки кружев. Все это кладется не в пластиковый, как сделали бы теперь, а в тряпичный мешок и относится на толкучку. Толкучка — это зрелище немногим легче, чем очередь к тюрьме. Это громадная площадь — та, на которой возвышается теперь район Краста. На ней расположились со своим товаром тысячи людей. А другие тысяч — ходят между этими выставками хлама, разложенными прямо на земле. Тут все. Начиная от ржавого гвоздя и кончая старинными башенными часами с боем. Те, кто пытается что-то продать, зорко следят, чтобы у них из-под ног ничего не стащили. А это так просто. Достаточно продавцу поднять глаза на очередного покупателя, как что-то с земли уже пропало. Кроме них стоят в рост еще сотни и сотни людей, держащих свои сокровища в руках. Вот и я становлюсь среди них. Мешок зажат между ног. В первый день я стояла, держа одно платье двумя руками и поворачивая его в самом выгодном ракурсе. Через несколько дней поняла, что у покупателей настолько наметанный глаз, что им покажишь лишь уголок какой-нибудь тряпки, и они уже знают, нужна им эта вещь — нет. Почти каждый день удается что-то продать. И по отличной для меня цене. Оба платья покупает артистка Московского театра, такая же худая, как и я. Ей так трудно найти что-нибудь по своей фигуре. По-

немногу-понемногу все уходит. Мешок пустой. Дома еще две хрустальные вазы ждут своей очереди. Их надо нести в Ювелирторг. Несу не сразу. Одна обычного вида мелкограненая для длинных роз. Это давний подарок мне от некоего ухажера. А другую несу на следующий день с болью в сердце. Ее мне подарил дорогой мой Георгий Константинович — тот, у кого немцы расстреляли жену, а сынок погиб от менингита, скрываясь от облавы. Я о нем уже рассказывала. Это он помогал моему папе выводить меня из немецкой тюрьмы. Ваза его прелестна — двухцветный хрусталь кораллово-желтоватых тонов. Отстояв очередь в Ювелирторге, дохожу до приемщика, седого, благообразного еврея с узким интеллигентным лицом. После всего обыденного — цепочки, обручальные кольца, кулоны, — он как-то весь меняется, бережно беря вазу в руки, долго рассматривая ее со всех сторон. Потом, стесняясь, предлагает мне смехотворную сумму, торопливо объясняя, что по новым законам любую вазу надо принимать только, исходя из ее высоты. Остальное не играет роли. Что мне остается — я соглашаюсь на его цену. Он волнуется. О чем-то думает. Потом просит меня посидеть-подождать. Скоро обеденный перерыв, и он освободится. Я жду. “Послушайте, — говорит он немного погодя — я не могу допустить, чтобы вы такую ценную вещь продали за гроши. Она стоит несравнимо дороже”. Я отвечаю, что мне деньги очень нужны. Тогда этот человек, который видит меня в первый раз, предлагает мне нести вазу домой, а он сейчас даст мне эту сумму с тем, что когда у меня будут деньги, я ему отдам. Я отказываюсь. Я уезжаю очень далеко и не могу дать гарантий, что верну ему эти деньги. Он снова и снова настаивает. Тогда я прошу его пойти на другой вариант. Он сейчас даст мне эту сумму — 350 рублей, а вазу возьмет к себе домой. Когда я приеду и соберусь с деньгами, я приду и он вернет мне вазу. После долгих уговоров, отнекиваний, быстрой нервной ходьбы за прилавком, он соглашается, но берет с меня слово, что я обязательно, будут у меня деньги или нет, это неважно, к нему приду и он во всех случаях отдаст мне вазу. Я благодарю этого удивительного, бескорыстного, доброго человека и иду со своими рублями домой.

Я потом никогда так и не соберу этой суммы.* Вернее, в ближайшие 15 лет. А потом и могла бы, но срок его терпения, казалось мне, к тому времени истек, и неудобно было поднимать эту историю. От друзей я впоследствии узнала, что этого благородного ювелира звали Рифтин. Сколько удивительных людей встретилось мне во времена моих бедствий.

* Теперь уже, после реформы, 35 рублей.

Я иду к Каценам прощаться. Мы с ними обоими очень дружим. Карл Карлович как-то сразу принял меня в свое сердце. Теперь он в тревоге. Он очень против того, чтобы я ехала на Урал. “Вы не вернетесь, — твердит он. — Они вас обманут, как всех обманывают, и мы вас больше не увидим”. И в то же время в углу комнаты на маленьком столике приготовлены для меня пакетики с сахаром, с копченым мясом.

Какие-то деньги привозит мне из Таллинна моя сводная сестра. Собираю какую-то сумму в долг. Литвины дают мне небольшой чемодан и рюкзак. Я покупаю билет до Москвы, покупаю снова много шпека, кое-какое обмундирование для мужа и уезжаю.

В Москве я нахожу своего дядю Георгия Петровича Блока — маминного брата. Живу у него три дня. Билет на Молотов достать не так легко. Живем мы с ним дружно, и у него я как-то внутренне отогреваюсь. Его освободили из ссылки и впервые с начала двадцатых годов он имеет право проживать в столицах. В свои 57 лет он кончает экстерном Литературный институт — без этого ему, лицеисту, не будет ходу — говорит он. Собирается переезжать в Ленинград, где ему предлагают снова работать в Академии наук. Он стреляный воробей и поэтому категорически против моей поездки. “Ты ничего не добьешься, зато очень большой процент, что сама погребешь себя там же. Ты нашей жизни не понимаешь, это совершенно другой, чуждый для вас мир, где другое право, другая логика, другое отношение к самым очевидным вещам”. Только когда я распарываю зашитый у меня на груди мешочек со всеми собранными в Риге документами и моим пространственным заявлением в НКВД, написанным на четырех листах старого удлиненного формата, дядя, прочитав все это, заражается моим оптимизмом и отпускает меня в путешествие, предварительно сводив в церковь.

В Молотов поезд приходит ночью. Собравшись небольшой группой ищущих жилья, идем пешком в город, а он от станции далеко. В гостинице мест нет, в Дом колхозника тоже не пускают, но дают несколько частных адресов, да еще говорят, что на Каме стоят на ремонте суда и там берут постояльцев. Я доверяю почему-то больше официальному учреждению и одна иду на причал Камы. Нахожу судно с огнями. Меня принимает горничная, ведет в каюту, где, кроме меня, никого нет, и уходит. По уже сложившейся привычке все прятать я запикиваю рюкзак между окном и столиком и, не взирая на полчища почему-то сверху падающих клопов, засыпаю. Наутро отношу свои вещи на причал в камеру хранения и иду в тюрьму. Очереди нет. Прошу у женщ—и в окошке дать справку о моем муже. Она, видно, не очень и грамотная,

долго водит пальцем по строке, я за это время успеваю прочесть, что Плюханов Б.В. 19 июня 1946 года переведен в психиатрическую больницу тюрьмы НКВД. Я впадаю в уже знакомое мне состояние яростной энергии. Иду по широченной почти деревенской улице с деревянными маленькими домами без намека на тротуар или мостовую. Вся улица от забора до забора и до самого горизонта — это песчаная пустыня. Иду по щиколотку в песке и вслух твержу: “Нет, уж теперь я вас доконаю, теперь уж я своего добыю”. Иду бесконечно долго. Наверное, попала не на самый короткий путь. Наконец дохожу до городской больницы. На ее территории за двойными рядами колючей проволоки и забором расположена тюремная больница. Стучу в калитку психиатрического отделения. Выходит толстая пожилая санитарка. Говорит, что вход сюда накрепко запрещен, даже с милицией не пустят. Что сюда я никогда не попаду и на мужа никогда не погляжу. Я ей сую 25 рублей (это моя первая и последняя взятка за всю эту грустную эпопею). Она смягчается: “Муж твой тихий, спокойный, только все время руки хочет на себя наложить”. На вопрос, куда же мне идти, к кому обращаться, она шепотом отвечает, что идти надо к главному врачу — это такой человек, такой человек... Иду. Главный врач напоминает земского врача чеховского типа. С сильной проседью, с бородкой, с умными, все понимающими глазами. Он никуда не торопится, не кричит “быстрее, быстрее”, а молча внимательно выслушивает мой подробный рассказ. Потом думает. Потом говорит такие слова: “Ваш муж попал в заколдованный круг. Он болен, потому что его не судят, а не судят потому, что он болен. Мы с вами будем действовать с двух фронтов. Вы добиваетесь, чтобы вашему мужу назначили суд, а я, когда получу запрос, отвечу, что по медицинским показаниям в суде он участвовать может. Он заболел от неизвестности. Столько времени не знать своей судьбы. Какой бы результат ни был, засудят ли его на определенный срок или отпустят — в обоих случаях неизвестность исчезнет и ему станет лучше”.

От главного врача я иду в НКВД. Правда, у меня мало надежд. Знаю я их уставы. Отправят снова к прокурору. Но тут начинается фата-моргана. Подхожу к окошку, прошу соединить меня со следователем, который ведет дело Плюханова. Дежурный офицер с готовностью звонит и просит подождать. Через некоторое время в приемную входит следователь. Спрашивает, кто, откуда, по какому делу. Отвечаю кратко. Он назначает мне прийти к нему в девять часов вечера и уходит, представившись: “Меня зовут Шаляпин”.

В девять часов вечера я сижу у него за столом. Кабинет как кабинет. Никаких софитов и рефлекторов. Просто комната хорошо освещена, и мы хорошо видим друг друга. Я вынимаю все мои бумаги. Передаю ему. Он, даже не глядя, откладывает их и просит все подробно ему рассказать. Я говорю, что все написала в пространным заявлении.

“Это само собой, а сейчас расскажите все с самого начала. Кто вы, откуда, где жили, и о муже тоже”.

Я рассказываю. Он слушает, пристально глядя мне в лицо, иногда прерывает, просит объяснений или дополнений, но ничего не записывает. Так я повествую до семи часов утра. В семь часов он меня отпускает и назначает прийти вечером в девять.

И вот я снова сижу против него. Он предлагает повторить все, что я рассказывала вчера с самого начала, а он будет вести протокол. У меня впечатление, что он записывает каждое слово. Потом это подтверждается. Как он смог водить пером по бумаге без перерыва всю ночь? Если я что-нибудь пропускаю, он напоминает. К утру он дает мне протокол прочитать и подписать. Я читаю не торопясь, очень внимательно — он этого требует. Потом подписываю каждую страницу и собираюсь уходить. Тут он предлагает мне прийти вниз в приемную через несколько часов — назначает время. Он пойдет в больницу к моему мужу и может взять для него передачу. Я благодарю и стремглав мчусь на базар. Мне еще нужно на пароход, а потом снова в Управление, а это все немалые концы. На базаре покупаю что есть — лук, чеснок, хлеб, яблоки, помидоры, сахар. Помидоры сослужили плохую службу. Муж от них с непривычки долго болел. Несу все это в свою каюту. А у меня там уже появилась соседка. Простая колхозница с белым платком на голове. Босиком. Без всяких вещей. Говорит, что вечером уезжает дальше в Краснокамск. Сюда пришла просто поспать. Устала с дороги. Отворачивается и засыпает. Я иду в камеру хранения за чемоданом и рюкзаком. Возвращаюсь. Вынимаю все, что приготовлено для мужа. Укладываю в мешок. Смотрю на часы. Времени на камеру хранения уже нет. Пустой рюкзак запикиваю снова под окно. А сильно опустевший чемодан — в нем теперь только мои вещи, ставлю под койку. На улице жарко. Август нынче душный. Пальто оставляю висеть на вешалке. Туфли туда же под койку. Надеваю легкие тапочки и — бегом. Шаляпин меня уже ждет. Идем не по пустыне, а какими-то улочками, поднимаемся по тропкам, мне кажется теперь, что в гору. Следователь снимает фуражку, ему тоже жарко. Он среднего роста, плотный, лет 35, бело-розовый, лысеватый блондин. Я спрашиваю, не родственник ли он

Ф.И. Шаляпину? “Нет, и горжусь этим”. Мы подходим к больнице. Я смелею и прошу его, кроме передачи, которую я ему отдаю, взять еще мою фотографию. Муж, как больной человек, может ничего не понять, а любимая его фотография все ему объяснит. Шаляпин неожиданно соглашается и уходит, предлагая к вечеру к нему навеститься.

Очень усталая, но и очень довольная бреду к себе на пароход поспать. Но поспать не удастся. Моей соседки нет. Вещей моих тоже нет. Ничего. Только пустой рюкзак она под столиком не заметила. Я остаюсь в чужом городе за несколько тысяч километров от дома в одном платье и тапочках. Правда, у меня в том же мешочке защиты деньги, так что ничего, не пропадем. Но спать некогда. Сначала иду к горничной Зое. У нее подозрительно бегают глаза, хотя она ничего не знает, не ведает и женщину эту видела в первый раз. Иду в милицию. Надо же что-то предпринимать. Те посылают в городскую, нет, кажется речную прокуратуру. Прокурор — грузин, очень веселый и компанейский, интересуется больше моей молодостью, чем моим делом, и я ухожу, поняв, что здесь толку не будет.

К вечеру иду в НКВД. Шаляпин уже заготовил мне пропуск и ждет. Объясняет, что делу дан ход. Что над мужем будет суд. Все будет как полагается. Чтобы обработать все материалы, нужно время. “Так что вы теперь спокойно поезжайте в Ригу и ждите решения суда. Желаю вам счастливого пути”. При упоминании счастливого пути я говорю, что вряд ли он будет очень комфортабельным, поскольку меня на пароходе обокрали, что называется, до нитки. Он сочувственно охает и вздыхает. Мы расстаемся.

Я не сплю ночь и тоже охаю и вздыхаю. Что же мне делать? Неужели, поверив небольшому чину, бросить все как есть и уезжать назад. Во второй раз я сюда уже не доберусь. Да и почему во второй раз? Надо до конца использовать данную мне возможность и действовать, действовать, действовать именно сейчас, а не когда-то потом.

И я все в том же клетчатом, правда когда-то элегантном платье и в тапочках иду знакомой дорогой к дежурному по Управлению НКВД. Прошусь на прием к начальнику следственного отдела. Офицер звонит. Мне назначают прийти завтра. И вот меня ведут наверх по красивой широкой лестнице. Не иначе, как это здание принадлежало когда-то Дворянскому собранию. Навстречу спускается группа офицеров. Когда я уже их миную, они меня останавливают: “Простите, это вас в нашем городе начисто обокрали?” “Да, меня”. Мы понимающе улыбаемся друг другу и расходимся. Потом я догадываюсь, что для далекого провинци-

ального города, каким был тогда Молотов, приезд молодой женщины из Риги с твердым намерением выхлопотать свободу мужу — это своего рода событие. Не принято было тогда хлопотать за мужей, принято было разводиться. А тут еще эта кража. Мое появление вызывает фурор. Совсем немного жду в приемной. От начальника выходят офицеры, все с интересом на меня озираются. Ординарец, или как он у них зовется, приглашает меня войти. Большая светлая комната с ковром во всю величину. Мне навстречу встает седой, стройный офицер с еще очень моложавым лицом, подходит ко мне, жмет руку и произносит — Хецелиус. “Э-э, да вы начинали когда-то в царской армии, товарищ Хецелиус”, — мелькает в моей бесшабашной голове. Мы чинно усаживаемся, и я начинаю свой, ставший уже привычным, монолог, только в сильно сокращенном виде. Потом говорим еще о том, о сем, конечно, и о краже. Он умеет к себе расположить, этот Хецелиус, и я расхрабрившись, спрашиваю: “Скажите, почему в вашем Управлении все такие любезные, идущие навстречу, даже улыбочивые? В Риге нас в ваше здание и на порог не пускают, не то что в разговоры вступать”. Он отвечает вполне серьезно, что Молотовское Управление всегда было в стране на очень хорошем счету, а во время войны сюда было эвакуировано все НКВД из Москвы. Это их школа, отчасти. “Ой — ли!” — думаю я про себя и спрашиваю, что он может мне сказать о будущем моего мужа. Он красивыми, округленными фразами говорит все то, что мне уже сказал Шаляпин. Догадываюсь, что вчера это он поручил Шаляпину сказать мне то-то и то-то. Новой звучит только фраза, что вся эта процедура может продлиться пару недель. Он провожает меня до дверей, и мы почти дружески расстаемся. У меня ощущение — он, как и я, понял — мы люди одного мира. Не из-за каких-нибудь умных, сказанных между нами слов, отнюдь нет. Просто ты невольно замечаешь, какая у человека походка, походка — это, пожалуй, самое характерное, ее нельзя подделать; видишь, как он садится, как подает руку, как закуривает. И этого достаточно.

Иду зачем-то в художественный музей, хотя мало что вижу. А музей занимает целый дом, и в нем уж, конечно, много интересного. Ничего не помню. Мысли текут только в одном направлении.

Я понимаю, что на этом не остановлюсь. Надо еще к начальнику всего Молотовского ЧК пробиться. Мой читатель, наверное, пожимает плечами — когда же это кончится? Я и сама себе удивляюсь, но тогда я действовала сомнамбулой. Мне совсем не хочется рассказывать о себе. Так получается, что моя персона это канва, с помощью которой я

слабыми стежками пытаюсь набросать портреты лиц, встретившихся на пути жены советского заключенного.

Я иду, записываюсь на прием и назавтра сижу напротив секретарши самого главного лица в области и жду. Мимо с большим, пухлым делом в руках, подрагивая ляжками, проходит к начальнику Шаляпин. Со мной он не здоровается — или не видит, озабоченный вызовом через голову других на самый верх, или обижен на меня, что я не удовлетворилась его исчерпывающими объяснениями. Жду довольно долго, потом меня вызывают. Комната небольшая, скромная. И человек за столом небольшого роста и тоже какой-то скромный. Нет, не скромный, но совсем другой, чем все остальные. Он не встает, не здоровается, говорит просто “садитесь”.

Рядом с ним навтыяжку стоит Шаляпин. Начальник листает дело мужа. Когда ему что-то неясно, он молча поднимает глаза на Шаляпина и тот поспешно переворачивает страницы и как-то по особому вывернув руку согнутой ладонью вверх, мизинцем указывает нужное место. Начальник, в отличие от других, в штатском поношенном черном костюме. У него круглое лицо с простыми чертами, простые широкие руки. Он все быстро схватывает и все быстро решает. Не ожидая моих вопросов, он обращается ко мне сам, и только тогда я вижу, какие умные у него глаза.

“Дело вашего мужа будет рассмотрено. Я рассчитываю, в течение двух, самое большее трех недель. Вам не стоит сидеть в Молотове и ждать. В любом случае вы его не увидите. Вы, конечно, хотели бы его сами увезти домой. Но и на место отбывания наказания, в случае соответственного решения, и в Ригу, если он будет освобожден, в обоих случаях он будет отправлен этапом. Так что поезжайте и ждите сообщений. Всего хорошего”.

Кроме “здравствуйте” и “спасибо, до свидания” я не произнесла в этом кабинете ни слова.

Какие они все разные. С этой мыслью я покидала неожиданно оказавшийся для меня гостеприимным дом в Молотове. Все разные, включая главного врача. Ему особый низкий поклон.

Теперь, через много десятков лет, я сама удивляюсь этому феномену. Почему они были такими? Или почему я их всех увидела такими? Для этого у меня есть кое-какие объяснения. Прежде всего, я жила вне России. Переписки ни с кем из живущих там у нас не было. Конечно,

по эмигрантской прессе я знала, что НКВД в СССР бесчинствует. Я читала книгу братьев Солоневичей "Россия в концлагере". Все мы ее тогда читали. Эта книга была предтечей книг Солженицына. Но сама я со всем этим не встречалась. В Таллинне эпопея с НКВД прошла для меня, если не считать психологических травм, вполне благополучно. В Риге я никуда не была допущена, как и все жены арестованных. Кроме глупого офицера, проводившего у нас обыск, и молчаливого, с трудом произносившего две-три ничего не говорящих фразы, прокурора Крахмальника, я никого из них не видела. И вот я приезжаю в Молотов.

Молодая женщина, убежденная в своей правоте. С детства отец, сам очень храбрый от природы человек, строго воспитывал в нас это отсутствие страха. Никого и ничего никогда не бояться. Это недостойное человека чувство. С этим я пришла в Совнарком. Для меня все наркомы и Председатель Совнаркома были такие же люди, как я. Я не смотрела на них снизу вверх. Я ощущала дистанцию — он начальник, я подчиненная. Но и только. В остальном мы равны.

Это была наверное, единственная в своем роде "Прибалтийская весна", когда, арестовав и продержав людей в заключении почти два года, их не расстреливали, а выпускали. Тогда, при нашей заграничной наивности это нам казалось нормальным, но позднее мы поняли, что это было редчайшим явлением, до сих пор остающимся загадкой. И еще. Болезнь моего мужа в основном проявлялась в том, что он был убежден — все слышат его мысли. Конечно, это было результатом не только того, что он жил в неизвестности, как утверждал главврач, но это было результатом страшных, изнурительных, разрушавших психику допросов. Потом уже мы услышали, что именно такой вид психического расстройства был в этих условиях не единственным случаем. Я своим приездом только подтолкнула чекистов к решению. Без того, что сделал главный врач больницы, им было бы трудно выйти из заколдованного круга.

Мне еще кажется необходимым совсем кратко рассказать о гораздо более трагической эпопее, связанной с моими друзьями Подгурскими и со мной. Подруга моя, тоже член Таллиннского Движения Аня Мурникова, подобно мне, вышла замуж за русского из Латвии и переехала в Ригу. Муж ее Юра Подгурский был мобилизован в германскую армию. Там его определили часовым при русских военнопленных. После фильтрационного лагеря в 1948 году вернулся благополучно в Ригу. Не сразу, а через три года примерно, был арестован и получил 10 лет лагерей.

Мы знали с Аней, что Юра при его порядочности и доброте был идеальным стражем для измученных русских, и наказание это казалось нам предельно несправедливым. И я, окрыленная возвращением мужа, уговорила Аню обратиться с заявлением в Верховный Суд и просить пересмотра дела. Я была несколько заигнотизирована отношением к моему делу молотовских чекистов. Мне думалось, что и в этом случае справедливость восторжествует. Стоит только обратить на это дело внимание справедливых людей. Это была временная эйфория. Потом это прошло. Борис Владимирович нас всячески поддерживал. Я написала очень, на наш взгляд, убедительное заявление, и мы, полные надежд, стали ждать ответа. И он пришел. Аню вызывали здесь, в Риге, на заседание Верховного Суда по делу ее мужа. Я сидела у них в квартире до часу ночи. Ани не было. Рано утром пришла снова. Анина мама, вдова настоятеля Рижской старообрядческой церкви, сидела в кресле, а Аня стояла около нее на коленях. Когда я вошла, Аня бодрым голосом возвестила: "Приговор оставили в силе. — И добавила, чтобы мама не поняла, по-эстонски: — Юра получил 20 лет". Аня с двумя детьми и мамой вернулась в Таллинн. Так мы и жили несколько долгих лет с ощущением своей непоправимой вины, вина была главным образом моя. А Юра пребывал в лагере, понимая, что он из него не выйдет. И только Хрущев своей амнистией нас от этого освободил. В 1955 году рано утром я на звонок открыла дверь, и вошел Юра, прямо с поезда. Этим жестом он хотел подчеркнуть со свойственной ему деликатностью, что зла на меня не держит и между нами все в порядке. Уже после меня пошел к рижским родным. Он совсем не изменился, был физически здоров и, приехав в Таллинн, устроился на работу инженером в проектное бюро. Аня работала кассиром в русском театре. Весь русский Таллинн ее знал и любил. Когда оба их сына были уже взрослыми и имели свои семьи, утонул старший сын Миша, а уже после тяжелой болезни и мучительной кончины матери - Анны Львовны, умер от саркомы младший сын Алеша. Георгий же Михайлович еще долго жил снова в Риге, где был избран наставником Рижской старообрядческой церкви. Он самоотверженно заботился о своих внуках, ездил постоянно в Таллинн, опекая их материально и духовно, и скончался сравнительно недавно от болезни сердца.

Ну а мне для завершения этой своей повести остается сказать совсем немного. Долгие мытарства в Молотове с билетом на Москву. На во-

кзале, на перронах, вокруг вокзала лежат, сидят, бродят тысячи людей, жаждущих уехать. Война кончилась. Они ощутили в какой-то мере свободу. Можно тронуться, куда душа хочет. К кассе не добраться. Только благодаря горничной Зое и ее письму к кассирше, я получаю наконец билет, правда, с надбавкой, но иначе не пробиться. Зоя же, видно, у них круговая порука, рекомендует мне носильщика, он, несмотря на полное отсутствие вещей, проведет меня в поезд, который будет стоять на запасных путях. Потом поезд уже с перрона отбудет в Москву. Но таких ловкачей, как мы, сотни, и когда я, просунутая носильщиком через окно, оказываюсь в вагоне, сидячих мест уже нет. Мне достается только очень узенькая веревочная сеточка, обтянутая вокруг металлом, на нее кладут обычно легкие вещи — шляпы, умывальные принадлежности, зонтики. Она длинная, эта сетка, только очень уж узкая и металл врезается в тело. Кроме того, я рискую с нее упасть. Какой-то добрый солдат привязывает меня к ней своим ремнем, и я так еду. Мне лишь бы спать. Но еще нападает на меня невероятный аппетит. Все время хочется есть. В Молотове я только раз была в ресторане, вернее, столовой, а кроме этого никаких своих трапез не помню. Наверное, проходя покупала пирожок с лотка. А тут на каждой большой станции глаза разбегаются. Стоят опрятно одетые женщины и из своих бездонных обшитых чем-то белым корзин вытаскивают все, чего только пожелаешь. Тут пироги, блины, сметана, простокваша, горячая картошка с маслом и луком, ягоды — чего только нет. Скоро меня уже знают и часто будят издали, откуда-то с другого конца вагона: “Эй, где тут девушка, которая всегда хочет есть? Бегом бегите, а то уедем”. Легко сказать бегом бегите. А мне надо отстегнуться, кому-то поручить стеречь мое спальное место и с солдатским ремнем в руках — Боже сохрани его потерять — солдат горя не оберется, бежать и покупать все подряд, складывая в купленный в Молотове полотняный мешок. А потом, поев, пристегнуться и снова спать. Ехали мы очень долго, сейчас уже не помню сколько суток. В Ригу я приезжаю в сентябре, а где-то к концу октября получаю повестку из центральной тюрьмы, что могу в такой-то день принести мужу передачу. Я почти уверена, что это победа, но почему его держат в тюрьме? Почему сразу не отпустили домой? Нет, этой неизвестности я уже не выдержу. Решаю идти в НКВД. После всех походов по инстанциям, да каким еще инстанциям, сейчас мне уже море по колено. Иду к дежурному и с решительным видом прошу сообщить следователю, ведущему дело Плюханова, что мне надо с ним поговорить. Но что это? В Риге ли я? Или это сон. Но это не сон. Дежу-

рный звонит, и какой-то чин самого заурядного вида спускается ко мне с пропуском и ведет вверх. По дороге он меня спрашивает: “Это вы ездили искать мужа в Молотов?” — “Я”.

Уже сидя в кабинете, произношу заранее отрепетированную речь. Я знаю, что муж в Риге. Но поскольку он нездоров, я считаю необходимым быть дома, когда он вернется. А мне надо лечь в больницу на операцию и надо подгадать так, чтобы к его возвращению быть уже на месте. Следовательно попадаетея на удочку, —, может быть, это и не является уже политической тайной. Но он меня спрашивает, сколько времени я пробуду в больнице. “Думаю, неделю”, — говорю я. “Ну тогда вы прекрасно успеете. Раньше 14 ноября ваш муж не придет”. Я благодарю и бегу к Литвиным сообщить им радостную весть. Как-то накануне Нового года сослуживец Николая Петровича спросил его (а я случайно это услышала), чего бы он больше всего хотел. Николай Петрович ответил, не задумываясь: “Чтобы вернулся из тюрьмы мой друг”.

Что же — он этого дождался. И именно 14 ноября 1946 года.

В документе Бориса Владимировича было сказано, что он отпущен за отсутствием состава преступления. Через несколько месяцев он был уже практически здоров и прожил долгую трудовую жизнь.

ОТРЫВОЧНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ

Не удивляйтесь! Эта часть моих воспоминаний будет очень отличаться от предыдущих. Там все были какие-то экстраординарные события, необычайное напряжение вокруг и внутри меня самой. Здесь все будет спокойно, и рассказывать я буду просто о тех людях, которые встретились на моем пути.

ВЕСНА 1935 ГОДА И ДАЛЬШЕ...

Начну с моего самого близкого и дорогого друга, с которым мы расстались в начале сороковых годов, но я помнила его всегда, и сегодня он живым стоит у меня перед глазами. Мы дружили более пяти лет, я много думала о нем всю свою последующую жизнь, уверена, что и он тоже меня не забывал.

Мне еще не было и семнадцати лет. Я кончала гимназию. Мы, как всегда, пошли всей семьей в таллиннскую Никольскую церковь на заутреню. Пришли заранее, встали впереди слева. Вскоре к нам подошла старушка Дедюлина — я рассказывала много о ней и всей семье Колзаковых. Они жили на острове Сааремаа, и приезд ее специально на Пасху оказался для нас неожиданным. Ее сопровождал красивый брюнет. Возраст? Уже за тридцать. Она его представила — Александр Александрович Ван дер Беллен. Какая интересная фамилия! Мы, дамы — хотя какая я дама — девочка в гимназической шапочке, мы стояли впереди, мужчины чуть сзади. Народу много, тесно, сильно пахнет ладаном. Я в те годы то ли была малокровной, то ли еще что, но зачастую в толпе делалось мне плохо —

вот-вот упаду. Выход один — уйти на свежий воздух. А тут не выйди. Чувствую, что теряю сознание. И вдруг чья-то рука сует мне что-то в руку, и чужой голос убедительно так говорит: “Крепче сожмите, сейчас все пройдет”. И правда. Через минуту все прошло и я спокойно достояла службу.

На улице мы оказались рядом и всю дорогу медленно шли за всеми и тихо разговаривали. А потом — город маленький — встретимся, проводит меня кусочек и опять до следующего раза. А в кармане пальто у меня как талисман всегда тот каштан. Долгие годы.

Как-то уже зимой Общество русских студентов устраивало бал. Меня пригласил на него товарищ моего старшего брата, тогда уже врач, Вася Панов. Заехал за мной на машине, все как подобает. Правда, предупредил, что он распорядитель вечера и будет очень занят. Мы сели за столик. И тут в дверях показался Александр Александрович. Огляделся и твердым шагом направился ко мне. Подсел к нам. Ведь все окончившие Тартуский университет хорошо знали друг друга. Вася прилетал и улетал, но поняв, что я не покинута и в хороших руках, стал показываться реже, усердно выполняя свои многочисленные обязанности. Потом спросил, надо ли меня проводить, но самому ему, да и нам было ясно, что не надо. Мы с моим кавалером, если можно было так назвать человека ровно в два раза старше меня, в начале вечера обещали друг другу танцевать до упаду. Но так ни разу и не встали со своих стульев. Стольким надо было поделиться, столько вопросов обсудить. А потом снова медленно шли под густым снегом и говорили, говорили. Александр Александрович был женат уже во второй раз. От первого брака была дочка, и теперь уже подрастала вторая дочь, еще совсем маленькая Нана. Это позднее уже, гуляя как-то с папой по парку и увидев большую кучу песка, она предложила: “Давай перенесем эту кучу в другое место!” — “Давай!” — И они вдвоем стали переносить песок. Умный, веселый и добрый был у нее папа. Жилось ему нелегко. Хоть и занимал он в “Тарту банке” очень большой и хорошо оплачиваемый пост, но надо было содержать первую семью, мать, больную сестру, не говоря о Наночке с мамой.

Он нанес моим родителям визит, потом приехал с женой, и мы изредка стали бывать у них, а они у нас. Но больше все сводилось к нашим, покуда редким случайным встречам.

Помню очаровательный зимний вечер. Я бегу из дома на занятия в техникум. Навстречу — видно, с работы — Александр Александрович. Поворачивается и идет меня провожать. Как мало остается нам времени. Вот уже и дом рядом с часовней на улице Пикк. Тут мы расстанемся. Но из подъезда выбегают веселые мои сокурсницы. Сегодня занятий не будет. А значит мы невозбранно можем еще погулять по красивейшему заснеженному городу.

Как-то я была звана к Ван дер Белленам на Пасху. Принесла Наночке в подарок, ей тогда не было и года, маленькое яичко из какого-то полудрагоценного камня. В золотое ушко за неимением цепочки продела золоченый шнурок, доставшийся мне от ювелира. Девочка лежала в кроватке. Мама надела ей яичко на шейку, завязав шнурок сзади на спине. Она спокойно играла с яйцом пальчиками, а мы пошли пить кофе. Потом вернулись к ней. Она спит, а яичка то нет. Есть шнурок на шейке, золотой штифтик торчит на золотом ушке, а яичка нет. Искали его искали. Потом поняли — проглотила Нана яичко. Держала, держала его во рту — с ним и уснула. Видно, клей был слабый, размок. Яичко и проскользнуло в животик. Господи, как я испугалась. Мама Наны хмурилась. У отца сверкали веселые искорки в глазах. Несколько дней потом я с трепетом ему звонила. Он только смеялся. А в какой-то день встретил мой звонок бравурным маршем. Все в порядке.

Кстати, о марше. Уже через много десятков лет Софья Владимировна Колзакова рассказывала мне, что Александр Александрович, закончив в Тарту лесной факультет, не знаю, как уж он точно назывался, экономический с лесным уклоном, может быть, проходил практику на лесистом острове Сааремаа и жил у них. Оттуда и дружба его со всей их семьей и со старушкой в особенности. Так вот, как-то вечером, сидя в уютных креслах, заговорила Софья Владимировна об опере “Евгений Онегин”. И вспомнив первые аккорды, стали они на два голоса петь оперу с Александром Александровичем. Хозяин дома продержался только до сцены дуэли и в соответствующий момент, пропев одно слово “убит”, удалился, а они двое все пели и пели и пропели всю оперу до конца. Кто из наших современников мог бы теперь совершить такое?

Да. А с Александром Александровичем мы продолжали дружить. Когда ему надо было принимать иностранцев, он просил меня помочь

и мы ехали с ними, с его женой и еще какой-нибудь парой сначала в ресторан, а потом устраивали для гостей экзотическую поездку в парк Кадриорг на маленьких извозчичьих санках с меховой полостью и с бубенчиками. Это имело постоянный успех. Если было сыро, можно еще было поиграть в снежки.

Летом 1936 года Русское Студенческое Христианское Движение отправило меня в Германию в Дассель на всемирную экуменическую конференцию. Меня, в единственном числе. Уже тогда в 1930-е годы жила идея объединения всех христианских церквей. Меня послали просто потому, что я говорила и по-немецки, и по-английски. Накануне отъезда зашла в банк обменять немногие эстонские кроны на марки. Доложила Ван дер Беллену о своем отъезде. Ехала я поездом. В этот же день Кира Сергеевна Видякина везла свою дочь, а мою приятельницу Тату поступать в Берлинский университет. Билеты мы взяли в одно купе, и я была поручена Кире Сергеевне. Этим же поездом ехал в развлекательную поездку генерал Штубендорф со своим племянником Юрием. Все мои провожают меня на вокзале, тут же Татин отец, родные Штубендорфов — одним словом, целая толпа. Уже второй звонок и вдруг я вижу, что по перрону стремительно летит фигура с развевающимися за спиной полами белого плаща. Неужели Ван дер Беллен решил меня проводить? Не может быть. Но он подходит, торопливо со всеми здоровается. Вот и третий звонок — почему же он не прощается со мной? Не для них же он сюда пришел? Я стою уже на площадке вагона. Поезд начинает двигаться, и Александр Александрович уже на ходу вскакивает на ступеньку, машет остающимся рукой и произносит: “Я еду в Тарту, в командировку”. Это просто дар небес. Целых 3,5 часа мы будем вместе. Он направляется в купе к Кире Сергеевне и просит у нее разрешения украсть меня на некоторое время. Мы сходим в вагон-ресторан. Он не успел сегодня поесть. Ну как же не отпустить с таким серьезным солидным человеком? И мы идем, и садимся, и сидим до самого Тарту, не отрываясь ни на минуту от разговора, всегда с его стороны такого сверкающего, блестящего, захватывающе интересного. А мимо от времени до времени фланирует унылая фигура Юрия Штубендорфа. Ему скучно.

Той же осенью я стала работать в лесоэкспортной конторе, где давно уже служила моя сводная сестра. Все подобные конторы, а их

было порядочно, вели свои финансовые дела именно с “Тарту банком”. И так уж сложилось, что мне каждый Божий день надо было ехать именно в этот банк и идти в кабинет именно Александра Александровича, чтобы получить его визу на очередной документ. Сколько удивительных минут провела я в этом небольшом стеклянном кабинете. Это длилось годы — до самого прихода Красной Армии.

Были у нашей семьи друзья — Грины. Он был — весьма преуспевающий адвокат. Жена — маленькая, толстенная — уютная домашняя хозяйка. Сын их, Кирилл Александрович, был очень долгое время студентом медицинского факультета. Закончив, наконец, свое образование, так и остался в Тарту. Был он в бытность свою студентом необычайно ленивым. Благо, торопиться было некуда. Родители за учебу платили, квартиру нанимали, деньги посылали, а каждую неделю еще шла в Тарту большая корзинка с вкуснейшими изделиями гриновской кухни. В Тарту он женился. Работал лорингологом. Врачом оказался прекрасным и самоотверженным. Всеми любимым. Во время войны, в дни боев за Тарту, он, не задумываясь, бросился в горящий дом, где были маленькие дети. Дети остались живы, а он погиб.

Поскольку сын жил всегда вдали от дома, родители его очень привязались ко мне. Часто звали в гости. Два лета я гостила у них на даче в Пярну. Дача была комфортабельная. У меня была отдельная комната, баловали меня ужасно. Очень любила я у них бывать, а уж летом жить — особенно. Как-то, скорее всего в 1938 году стою я на этой даче в кухне у окна и глажу свое бельишко. Вдруг в окне появляется сияющее лицо Александра Александровича: “Попросите-ка разрешения у Гринов и приходите сегодня вечером к фонтану у гостиницы. Мы с вами вместе поужинаем. Со мной Грины вас отпустят”. Боже, как мне попало от Грина: “Ты что, лучше места не нашла, где принимать Ван дер Бруна — на черной лестнице!” — “Да какая же это черная лестница? Это уютный балкончик с цветами”. — “Все равно, ты должна была пригласить его в дом. Мы бы оставили его обедать”. — “Да не мог он обедать. Он ехал инспектировать леса, вернется только вечером”. — “На все у тебя есть ответ. Лучше подумай, что ты оденешь”. Конфликт был исчерпан.

А вечером я в белом платье, с белым пуховым платком на плечах, иду на свидание. И с кем же? С дорогим моим Van der Eg'ом, как в насмешку надо мной зовут его мои друзья. И снова та же картина. Мы садимся за столик, заказываем бутылку вина. Ужинать, мол, будем позднее и сидим с этой бутылкой, забыв об ужине, до раннего утра. В себя приходим от удивительной тишины. Оглядываемся вокруг. Зал пуст, оркестра нет, столики перевернутыми очутились один на другом, а невдалеке, прислонившись к стене, наш официант ждет, когда мы его отпустим. Вот, какие тогда были порядки. Ни разу он нас не побеспокоил. Получив крупную сумму на чай, он нам отпер дверь, и мы вышли в прелестное светлое утро в парк. Было еще свежо после ночи, но птицы таким торжествующим пением встречали новый день, и солнце так сверкало на свежей, умытой росой листве, что мы просто вынуждены были погуляв, сесть на скамейку, чтобы уже до конца насладиться этой свежестью, воздухом, синим небом и недалеким гулом моря. Были мы тихие и умиротворенные и так не хотелось возвращаться в обычную жизнь. Мы с такой чистотой и трепетностью, так бережно относились друг к другу, что я уверена, никому из н — х многочисленных сослуживцев и знакомых никогда и в голову не приходило



Александр Александрович Ван дер Беллен.

какое-нибудь компрометирующее меня подозрение. Все с понимающей улыбкой смотрели на наши отношения. А мы сами? Мы никогда, ни разу их не выясняли. Мы были как те птицы с их торжествующей песней. За эти годы у меня было немало романов. Раз даже я была целый год невестой, но с Александром Александровичем мы никогда ничего такого не обсуждали. Даже в голову не приходило. Наши отношения были вне всего этого. Потом пришло лето 1940 года, и только тут, через полгода после принятия труднейшего для него решения Ван дер Беллен признался мне, что уезжает со всей семьей в Вену. Как-то через посредничество многих банков ему удалось организовать выезд не в Германию, а в Вену. И мы расстались. А в разгар немецкой оккупации, когда я работала машинисткой на Целлюлозе, подошел ко мне мой шеф, наш старый общий с Александром Александровичем знакомый, и сказал: “Возьмите трубку в моем кабинете — вас ожидает сюрприз”. И я услышала милый родной голос. У Беллена оставались в Эстонии дочь и брат. Он приехал навестить их, но я знаю, что и меня. На этот раз нам было ясно обоим, что мы больше не увидимся. Ему было суждено жить на Западе, а мне в Прибалтике. И мы расстались, теперь уже навсегда.

ПОЕЗДКА В ГЕРМАНИЮ В 1936 г.

Я уже упоминала, что летом 1936 г. Русское Студенческое Христианское Движение отправило меня в Германию в Дассель на Всемирную Экуменическую Конференцию. В Германии в это время проходили Олимпийские игры. В один из дней моей краткой остановки в Берлине я совершенно случайно попала на крупнейшую уличную манифестацию. Наверное, это было на Унтер ден Линден. По середине улицы должен был проехать Гитлер. Я этого еще не знала и была несказанно удивлена при виде огромных толп на всех тротуарах. Над толпами возвышалось что-то вроде густого частокола. Вглядевшись, я поняла, что все мои соседи держат в руках небрежно выделанную белую палку (у всех они одинаковы, эти палки,

т.е. это государственное производство). Наверху на конце палки пристроено на дощечке зеркало, которое направляется в сторону улицы и таким образом каждый, не толкаясь и не устремляясь вперед, может с любого места, не взирая на свой рост, увидеть в зеркале проезжающего Führer'a и всю его свиту. Правда, они таким образом были лишены возможности рукоплескать своему вождю, но это компенсировалось неистовыми криками, которые волной катились по бесконечному бульвару. Разумеется, по краю проезжей части стояла какая-то охрана, но никакого контроля, проверки документов или заслонов я не заметила. Поскольку я вышла из боковой улицы, то оказалась сравнительно впереди и благодаря своему росту и зрению увидела и без зеркала стоявшую в медленно проезжавшей машине фигуру Гитлера. Заурядного вида человек в форме, в высокой фуражке, стоял вытянувшись и не шелохнувшись держал руку не очень высоко впереди в принятом у них приветствии. Проехал молча, не улыбаясь, скорее с хмурым и отнюдь не приветливым лицом. Толпа пропустила, уже с меньшим интересом, всех сопровождающих и стала расходиться. Во время проезда Гитлера, да и до этого, все были необычайно возбуждены. Я осталась совершенно равнодушной, и должна признаться, что десятки лет всего этого даже не вспоминала.

Совершенно не помню пути через Ганновер в Дассель. Но саму конференцию помню хорошо. Народу собралось много. Большинство, конечно, были немцы, но были представители очень многих стран и церквей. Не помню католиков, не было и сектантов. Присутствовал посланец англиканской церкви, представитель из Америки, приехало много православных греков. Помню молодых девушек из православной Болгарии и Югославии. Русское православие было представлено Парижем. Возглавлял делегацию, как и всегда и всюду, профессор Богословского Института, тогда еще не принявший сан, Василий Васильевич Зеньковский. Владея немецким, он и тут нередко выступал, зачастую председательствовал. Из Парижа же был профессор Зандер. И он знал великолепно все европейские языки, и слушать Льва Александровича было, как и обычно, очень интересно. Присутствовала еще всегда молчавшая дочь духовного руководителя Движения А.С. Четверикова и Виген Нарцисьян из Берлина. Председателем всего мирового экуменического движения был тогда, да и десятки лет спустя, Wisser t' Hoof. Необычайно

простой и всем доступный, веселый, общительный, он и на такую пичугу, как я, обратил свое внимание. Должно быть, чтобы подбодрить, придать храбрости. Мы с ним, если можно так дерзко сказать, даже подружились; гуляли по богатому, с нашей северной точки зрения, лесу, где встретили небольшую группу лосей, которые неторопливо ушли от нас подальше в чащу. Т' Ноофт потом писал мне в Таллинн и даже прислал несколько фотографий (они и сейчас у меня хранятся), но когда он, скорее всего в начале семидесятых, приехал все в этом же статусе в Ригу, я не решилась ему о себе напомнить. Вряд ли бы мое начальство такой визит очень поощрило.

На конференции каждый день, кроме докладов и дискуссий, проводилось тут же на поляне в лесу, где мы заседали, какое-нибудь богослужение. Особенное впечатление произвели на меня греки с их удивительным, очень отличающимся от нашего, страстным многоголосым пением. Но самым большим переживанием, именно переживанием я могу назвать поездку всех участников в недалеко расположенную протестантскую церковь. Я и до того, живя в лютеранском Таллинне, нередко бывала в их церквях. Но это было что-то совсем другое. Почти до отказа заполненный храм, хотя служба была в неурочное время и присутствовали только мы, участники конференции. Это ощущение полного слияния разноязычных людей разных вероисповеданий в общей молитве было совершенно особенным. В церкви царило не просто воодушевление, а я бы сказала, восторг от этого общего взывания к Богу. И это настроение еще долго нас не покидало.

После окончания конференции я была приглашена начальником юношеской дружины берлинского Движения Владимиром Сергеевичем Слепьяном в их летний лагерь. Лагерь этот был расположен в густом сосновом лесу на берегу большого озера. В отличие от наших лагерей Таллиннской дружины Движения, он был, с моей точки зрения, излишне военизирован. Каждое утро и каждый вечер берлинская молодежь выстраивалась по команде “смирно”, и ее начальник лагеря со своим заместителем обходил строй. Поднималось и опускалось знамя. И с мальчиками и с девочками закалились муштрой. “Лечь”, “встать”, “бегом марш” и т.д. Спали мы все в палатках. Мне, как госте, была предоставлена совсем маленькая, но оди-

ночная палатка. Утром после пробудки все бежали на озеро мыться или купаться. А дежурные по кухне готовили завтрак. Ели мы тут же на опушке леса, сидя на длинных скамейках у столов, грубо сколоченных нашими же мальчишками. Для меня все это было внове. Наши лагеря где-нибудь под Таллинном всегда размещались в школах, ели мы в школьной столовой и готовили на плите в кухне, а не на кострах. Здесь, в Германии, утром и вечером бывала молитва. Изредка Слепьян выступал с каким-нибудь сообщением. У меня осталось впечатление, что наши лагеря были более насыщены умственной работой, как теперь бы сказали, были более интеллектуальными. У нас был распланирован заранее каждый день: каждое утро доклад и обсуждение, каждый вечер семинар. В последнее воскресенье общее причастие. Но нами руководили опытные самоотверженные люди — такие, как вся семья Дезенов, Коля Пенкин, Слава Чернявский. Берлинец же В.С. Слепьян был один. И вокруг него несколько беззаветно преданных ему совсем зеленых юношей. Кроме того, Слепьян был прежде всего военным. Он преследовал совсем другие цели. Его лагерь носил скорее скаутский характер — строй, спортивные соревнования, ночные игры. Теперь я думаю, что он сознательно готовил молодежь для сопротивления большевикам; не так, как мы, интеллектуального, а именно военного. Я не знала никого из берлинского Движения и поэтому не могу объяснить, почему эту огромную работу он вел совершенно один. Он был великолепный организатор, был строг, подтянут, с большим чувством юмора, очень неглуп. Бедный Слепьян. В какой-то момент уже во время войны наше НКВД умудрилось его в Германии арестовать и, кажется, расстрелять. Ходили такие слухи — точно не знаю. Но одно ясно, что он погиб.

Запомнился еще один день. Перед самым закрытием лагеря бывший генерал Белой армии Бискупский приехал к нам проводить смотр. Генерал решил потрянуть стариной и вел себя как на армейском плацу. Сосредоточенно, резко, подчеркнуто деловито. Ударяя от времени до времени стэком по высокому сапогу, прошел он вдоль всего строя и, приняв парад, сразу отбыл. Это единственное неприятное воспоминание за мое месячное пребывание в лагере.

Вернувшись в Берлин, я еще застряла там на несколько дней в одной русской семье. Помощники Слепьяна, скорее всего по его про-

сьбе, взяли надо мной шефство. Один, Артур, возил меня на бешеной скорости по городу на мотоцикле. Завозил в музеи. Больше всего заинтересовал меня Пергамон. Город показался казарменно-скучным. Но это такое поверхностное впечатление. Зато назавтра уже сам “начальник штаба” Слепяна Виктор Луи (не тот Виктор Луи, о котором писали в прессе, что он был чьим-то резидентом, а другой. Резидент был, судя по снимкам, небольшого роста и плотный, а этот был очень высокий и худой-худой). Так вот Виктор Луи повез меня на своей машине в Потсдам. Все, что я там видела, было красиво и интересно. Виктор стал мне после этого часто писать. Все тот же 1940-й год прервал нашу милую дружественную переписку.

Из старших мальчиков мне в этом лагере запомнились совсем непохожие друг на друга братья Дерюгины. Они тоже ходили в начальстве. Были симпатичны, хорошо воспитанны. Но это я зря говорю. Надо отдать справедливость русским эмигрантам в Германии — дети их все были воспитанны, умели себя держать в любой ситуации, были сдержаны и тактичны. В Европу ведь бежала интеллигенция.

Хочу добавить, что уже в 1990-е годы я встретила в Италии Татьяну Георгиевну Варшавскую, вдову эмигрантского писателя и журналиста Варшавского. Что-то знакомое мелькало иногда в ее облике — профиль, прическа, манера говорить. Я по крупинкам, по крупинкам додумалась, что она шестьдесят лет тому назад была со мной в том же лагере Слепяна, что она урожденная Дерюгина. Братев ее, как старших, я помнила очень хорошо, а ее, как маленькую, смутно. У Татьяны Георгиевны сложилась интереснейшая жизнь. Отличное знание языков дало ей возможность стать известной синхронной переводчицей. Долгое время она работала в ООН, потом два года была секретарем Александра Солженицына, живя в его поместье в Вермонте. Сейчас она обосновалась на границе Франции и Швейцарии и, не смотря на свой возраст, продолжает еще работать в Женеве. Чтобы лишний раз подчеркнуть — пути Господни неисповедимы, — должна прибавить, что познакомилась я с Татьяной Георгиевной в связи с тем, что она оказалась крестной матерью моей внучки.

КАК МЕНЯ ВОСПИТЫВАЛИ

В виде примера расскажу только об одном случае, но он о многом говорит.

Как-то маме надо было по делу пойти к баронессе Штакельберг. Мама, как всегда, взяла меня с собой. Оставить ведь не с кем, а было мне лет пять. Это случилось сразу после Рождества, школьные каникулы еще не кончились, и дочка хозяйки, а моя подруга, была дома. Следующая комната после столовой была спальня. В ней мы и оказались, чтобы не мешать старшим. На туалете красного дерева с трехстворчатым зеркалом стояла длинная хрустальная ваза, а в ней много, много чего-то блестящего. Люся небрежно сказала, что в этой вазочке мама держит свои драгоценности. Стали мы с ней их не то что перебирать, но рассматривать, иногда и подтолкнув или потянув что-то пальцем. Немножко боязно, но уж очень интересно. И тут мне попался на глаза, судя по всему, драгоценный камень. Если уж он в драгоценностях, значит, драгоценный. Был он зеленый, но разных оттенков, величиной и формой напоминал крупный крыжовник. Я его вытянула двумя пальцами и стала разглядывать. Из всех дорогих драгоценностей он заинтересовал меня больше всего. Стала его перекачивать из руки в руку, любуясь переливами рисунка. Очень он мне нравился. И вдруг случилось ужасное. Он в моей руке рассыпался на мелкие кусочки. Люся куда-то отошла. Я в полном отчаянии остатки этой прелестной вещицы сунула назад в вазочку и печально пошла за подругой. А тут и мама стала собираться, и мы ушли. По дороге я была темнее тучи. Дома мама села рядом со мной и обняв крепко, спросила: «Что-то случилось?» И я, рыдая, захлебываясь слезами, снова и снова возвращаясь к несравненной красоте загубленной мною вещи, рассказала о всей непоправимости случившегося. Мама только спросила, почему я сразу не пошла к Татьяне Владимировне и не показала ей осколки. Боялась. Очень страшно было. Мама, не задумываясь, сразу нашла выход. Завтра она выкроит время, и мы сходим снова с Штакельбергам, и мне придется все рассказать. Надо попросить прощения, во-первых, за то, что трогала чужие вещи, во-вторых, за то, что одну из них разбила и, в-третьих, что

сразу не призналась. Ночь я спала беспокойно. Шла к Штакельбергам ни жива ни мертва. Телефонов тогда не было. К счастью, хозяйка была дома. Расстояние до них было немаленькое, и ходили мы с мамой из экономии всегда пешком, а не ездили на трамвае. Другого транспорта тогда не было. Были еще извозчики, но это уж совсем не для нас. Мама сразу объяснила хозяйке, что, собственно говоря, я, а не мама пришла к ней по срочному делу. Мы разделись, уселись, и вот обе мои собеседницы смотрят на меня серьезно и внимательно в ожидании объяснений. Я уже много раз повторяла про себя свою речь и тут после длительного мучительного молчания, хоть и несколько сбивчиво, ее произнесла. Без тени улыбки Татьяна Владимировна выслушала все мое повествование. Потом вполне серьезно сказала все то, что и мама вчера говорила. Что чужие вещи трогать нельзя, а тем более брать их в руки, что, конечно, скверно было, что я сразу ей не открылась, потому, что тогда все было бы проще и бедной моей маме не надо было бы снова со мной к ней приходить. «Понимаешь, в чем дело? К твоему счастью, этот зеленый, как ты говоришь, крыжовник, был не драгоценным камнем, а частью елочного украшения — цепи из крупных стеклянных бус. Цепь эта, когда елку разбирали после праздников, порвалась. Бусы рассыпались по всей комнате, ну и кто-то, найдя одну уже потом, после уборки, положил ее в вазу с драгоценностями. Так что ты не плачь так горько. Ничего страшного не случилось. Все хорошо». И мы ушли. Уже внизу мама меня крепко поцеловала, вытерла мои слезы, повторила, что все в порядке и никаких неприятностей от моего поступка у Штакельбергов не будет, но главное, что я пришла и все чистосердечно рассказала. Так всегда нужно делать и тогда легче будет жить. «Тебе ведь стало легко теперь?» Я молча прижималась к маме с ощущением сброшенной с плеч тяжести, с ощущением, что вот она мама, моя защитница, все понимающая и все знающая, которая всегда поможет и все-все устроит.

А ведь насколько проще было бы маме сразу сказать, как сказали бы все теперь: «Да не волнуйся ты из-за этого вздора. Стекляшка какая-то. Ну, разбилась... Пустяки все это».

МОЙ СТАРШИЙ БРАТ

В первой части записок я вскользь упоминала о своем старшем брате Владимире Сергеевиче Киршбауме. Он уехал после окончания гимназии во Францию, чтобы там учиться дальше. В Эстонии этой возможности для неимущих русских не было. Я расставалась с ним десятилетней девочкой, поэтому и воспоминания мои о нем эстонских времен очень беглые. Теперь я хочу возместить этот пробел рассказом о том, каково пришлось русскому мальчику начинать в 1928 году свою жизнь во Франции. Все эпизоды, о которых я расскажу, так или иначе связаны с Эстонией. В Париже жил и вел очень большую благотворительную работу некто Михаил Михайлович Федоров. В частности, он помогал русским студентам стипендиями. Мама моя, сама будучи в Таллинне председателем Общества помощи больным эмигрантам, имела с ним общие дела. Они списались насчет моего брата, и он восемнадцатилетним мальчиком, отправился в Кале на маленьком пароходе матросом, чтобы поступить в университет в Лилле, где жил наш друг Ю.М. Ключковский, взявший на себя в большой мере попечение о Димке. Дружили они потом около пятидесяти лет. Я уже не помню сейчас почему, брат оказался потом в Бордо, где и окончил химический факультет. То ли проявилась тут охота к перемене мест, то ли в Лилле не было совсем русской молодежи. Скорее последнее. Из жизни его в Бордо вспоминается такая история. Жили они в одной комнате втроем — трое таллиннцев: Васильев, Шёме и мой брат. Немец Шёме был, если не ошибаюсь, сыном директора психиатрической больницы "Зеевальд". Отец имел возможность посылать сыну время от времени деньги. Двое других перебивались, что называется, с хлеба на квас.

Вот как-то зимой сидят они без угля в холодной комнате и рассуждают все трое, где бы стрельнуть денег, чтобы поесть. И в этот момент почтальон приносит Шёме перевод. Тут же кто-то из них устремляется за углем, а Шёме идет за продуктами. Мальчики разжигают камин и с нетерпением поджидают своего сожителя. Он приходит с целой кучей соблазнительных пакетов и даже с бутылкой вина. С немецкой аккуратностью расстилает скатерть на придвинутом к камину столике, раскладывает на тарелочки разные вку-

ности, ставит на стол один прибор, одну рюмку и спокойно садится пиршествовать на глазах у голодных мальчишек. Те, молча посмотрев на это несколько минут, одеваются и уходят на холодные улицы города.

Еще вспоминается страшный случай из жизни брата. В гимназии у него был близкий товарищ Юра Писарев. Он был очень способным мальчиком, но не владел языками. Тем не менее Дима уговорил его ехать во Францию учиться. Сначала можно поступить на подготовительный курс, выучить язык и через год перейти уже в ранг настоящего студента. Юра так и сделал. Родители его, совсем простые люди, держали где-то в деревне лавочку и могли помогать сыну хоть немного, учитывая федоровскую стипендию. Он учился отлично, и все шло хорошо. Как-то ранним летом накануне отъезда (снова матросами) на каникулы домой, пошли оба студента купаться. Начался прилив, но что мальчишкам до этого. В общем стал Юра тонуть. Димка, умевший хорошо плавать, подплыл к нему с большими трудностями и повернул с ним к берегу. Когда он мог уже идти по дну и Юра сказал, что все в порядке, Дима его отпустил, ближайшая же волна смыла его снова. Димка пулся за ним, но и Юра совершенно потерял уже способность сопротивления и брат был предельно измотан. В общем утонул Юра. И Дима приехал в Таллинн один. Помню, как мы его встречали, каким страшным сошел он с трапа, с каким ужасом поехал он в Юрину деревню к его родителям. В то лето каникул у брата не было.

Кончил Дима университет, и тут начался во Франции кризис и неминуемо связанная с ним безработица. Несколько лет прожил он в Париже безработным. Для русской бедствующей молодежи, не помню уже кем, может быть, тем же Федоровым, было организовано в помещении бывшего гаража общежитие. Посредине гаража росло большое дерево, уходившее своей кроной через крышу на волю. Безработным давали раз в день суп. Ежедневно ранним утром те, у кого хватало на это характера, шли через весь город пешком на биржу труда. Чаще, отстояв длинную очередь и ничего не дождавись, они брели домой в свой гараж. Иногда подворачивалась какая-то случайная работа. Что-то разгрузить, где-то стать на день-два подсобным рабочим. Это была удача. Брат потом рассказывал, что обязательно следовало держать себя в форме и каждое утро, невзирая на

погоду и состояние здоровья, надо было идти на биржу. Стоило выйти из этой колеи, раз-другой остаться спать, закрывшись с головой одеялом, и человеку был конец. Ему было уже не подняться, и он погибал. Однажды как-то, уже долгое время не работая, возвращался Дима через какой-то парк домой. Слабость от голода заставила его сесть на скамейку. Сидит он и думает: «Ну, вот и все. Завтра мне уже не встать и крышка». Утро раннее, в парке безлюдно. Издали показывается на аллее человек. Дима машинально на него смотрит, но не видит. Человек подходит к скамейке и, ударив Димку по плечу, произносит: «Цилиндр Иванович! А ты что здесь делаешь?» Дима выходит из своего оцепенения. Кто же это может быть, как не друг его детства Володя Колзаков. Бывают же такие встречи. И где — в Париже! Посидев, поговорив, Володя тащит Диму к себе. К нему приехала из Таллинна мама. Она сейчас их накормит, уложит Диму спать, снова покормит и все будет в порядке. Так все и было. Дорогая моя Софья Владимировна во время своего краткого пребывания в Париже откормила Диму, поставила его на ноги, и жизнь покатила дальше.

А тут маме подвернулась случайная работа. В Таллинн, с мыслью, не купить ли ему Таллиннский Русско-Балтийский завод, приехал из Франции некто Мартинаж. Ему нужен был переводчик. Рекомендовали ему маму. Провели они вместе несколько дней. Завод он не купил, но с мамой они очень сошлись. Весь мамин заработок ушел сразу же на затыкание очередных дыр, а Мартинаж на прощание преподнес маме фантастических размеров коробку конфет. Запомнилось наше с братом Сережей разочарование. Нам бы что-нибудь более существенное. Но шоколадом Мартинаж не ограничился. Расставаясь, он спросил, не может ли он для мамы что-нибудь сделать. Она набралась храбрости и попросила взять на работу на один из его заводов ее сына. Мартинаж тут же на своей визитной карточке написал распоряжение главному инженеру в Амьене: «Принять подателя сего инженера-химика такого-то на работу». Отмахиваясь от маминой благодарности, уехал. И Димка стал работать в Амьене. Длилось это недолго. Года через полтора хозяин разорился, и завод был закрыт. Но брат уже почувствовал почву под ногами. Приделался, водились у него уже какие-то деньги, и теперь начал сам, помимо биржи, энергично искать работу и нашел. Стал художником в

предприятия, которое создавало рисунки для материй. Париж для всего мира столица моды, и рисунки эти раскупали текстильные заводы всех континентов. Так, едва начавшись, закончилась карьера химика, и брат на всю жизнь связал себя с фирмой "Dessins", став впоследствии ее владельцем.

КАЖЕТСЯ, Я ПОДУМЫВАЮ О ЗАМУЖЕСТВЕ 1935-1936 гг.

После окончания гимназии, после напряженных выпускных экзаменов я была приглашена друзьями нашей семьи Гринами отдохнуть у них на даче в Пярну. Лето было жаркое, да тогда еще погода не удивляла нас никакими отклонениями. Сколько себя помню в детстве и юности — лето всегда было жарким, зима всегда была снежной. Знакомых у меня в городе не было, Грины жили замкнуто, так что я гуляла одна, то по прекрасному пляжу, то по огромному парку и ничего лучшего не хотела. Тогда на курортах приняты были концерты симфонической музыки с приглашенными дирижерами, с хорошими оркестрами. Да не только тогда, но задолго до того времени. Еще Тургенев описывал такие вечера в Баден-Бадене. Так вот, как-то вечером на музыке познакомились мы с эстонской девушкой. Она училась в гимназии. Еще с косичками. Мы разговорились. Вместе пошли домой — жили, оказывается, рядом. Отец ее, генерал Эстонской армии Рейман был милым, добрым человеком, конечно, бывшим русским офицером. А жена, так была просто русской. Девочка их скучала, и они ухватились за меня, стали приглашать, вместе отпускали нас гулять, пытались как-то развлечь.

Однажды генерал пригласил меня ехать вместе с ними в ближайшую субботу на бал, устраиваемый ежегодно в большом здании курзала. Пришлось просить маму срочно выслать автобусом мое выпускное длинное белое платье и туфли. Мама все сделала, и вот я, надев скромное закрытое платье, завязав косу, как обычно, узлом на затылке, без всякого макияжа, отправилась к Рейманам. Они остались моим видом довольны. Их дочка, как ученица, была еще в коротком пестреньком платье "Gretchen", и я своим видом отнюдь ее не затемняла. Адьютант генерала, не очень уже молодой, высокий и

элегантный в своей форме, подсаживал нас в машину. Гимназисточку мы плотно окружили, и контролеры возраста ее не заметили. Так мы и сидели за столиком впятером. Адьютанту пришлось нелегко. Он всю ночь, почти не садясь, танцевал с обеими девицами. Мы были в восторге. Танцевал он отлично. Генерал с генеральшей радовались, что дочери так весело. Потом появились лакеи с подносами, на которых лежали крупным шрифтом отпечатанные номера с бантами. Каждая дама должна была нацепить такой номер на плечо. Нам было весело, мы шутили, смеялись и как-то не обратили никакого внимания на эту процедуру. Знай, танцевали себе дальше, ужин —, ели с наслаждением мороженое. Так все это интересно — ведь в первый раз в жизни. До того бывали только школьные вечера, всегда до 10 часов вечера, с буфетом в коридоре. Где-то уже в середине бала началась какая-то суета, кто-то кого-то выбирал, видные мужчины куда-то исчезали. А мы все танцевали и танцевали. Потом вспомнилось, что многие, проходя мимо нашего столика, ненароком смотрели на мое плечо, да и танцующая толпа как-то необычному меняла свои маршруты. Но мы с моей подружкой ничего этого в пылу веселья не замечали. Потом оркестр заиграл туш. На середину зала вышел мэр города в сопровождении директора курзала и еще каких-то господ и рассказал, а я только впервые об этом услышала, что по традиции сегодня здесь выбирается королева курорта Пярну. Что жюри долго и серьезно обсуждало все кандидатуры и единогласно, учитывая мнение большинства участвовавшей в голосовании публики, остановилось на № 79. Даму с этим номером просят со своим кавалером выйти на середину зала. Я с живейшим интересом стала озираться по сторонам — кто же она, эта королева? Так и чувствую сейчас еще эту заинтересованную улыбку на своем лице. Потом какое-то легкое замешательство в зале, какие-то недоуменные взгляды — и вдруг адъютант генерала встает и подчеркнуто торжественно склоняется передо мной в поклоне. При чем это? «Почему танцевать? Нужна же еще королева?» «Посмотрите на свой номер», — говорит он мне. Боже мой, номер 79! Я, все еще не очень понимая, подбадриваемая генералом и его женой, выхожу в образовавшийся круг. Оркестр снова играет туш. Мэр города прикрепляет к моему платью большой бант и серебряную пластинку, где выгравировано «Королева курорта Пярну в 1935 году». Дирек-

тор курзала преподносит мне букет красных роз — огромный — я потом дома сосчитала — их было шестьдесят. Ко мне подходят члены жюри, целуют руку, поздравляют. А дальше я передаю кому-то тяжелый букет, и мы танцуем с генеральским адъютантом вдвоем — одни во всем зале, почетный вальс. Что было дальше, я совсем не помню. Знаю только, что оказавшись дома, я напустила в ванну холодную воду и положив в нее весь букет, отправилась на цыпочках в свою комнату спать. Когда утром спустилась вниз, меня встретил мой хозяин. Он был вне себя. Увидев в ванне мои розы, он все понял и был совершенно сражен.

«Как я посмотрю в глаза твоему отцу. Я же его осрамил». — Грин успел побывать в городе и увидеть, что во всех киосках продаются газеты с моими портретами и краткой биографией. Это вчера какие-то люди успели спросить меня, кто я, откуда и какую школу кончала. Я пыталась объяснить Грину, что я ни о чем не подозревала и до конца ничего не понимала. Он только головой качал. Потом они встретились с генералом, и все объяснилось. К моему возвращению домой папа тоже уже успокоился. Но представляю себе его лицо, когда он в тот день раскрыл газету.

Я рассказываю об этом не для того, чтобы похвастаться — есть, чем хвастаться в 80 лет! — а потому, что вся эта история имела дальнейшее, и мне кажется, небезынтересное продолжение.

После разговора с Грином, одев свое скромное, мамой сшитое пикейное платье, белые теннисные туфли и носочки, я отправилась на пляж. То ли слава мне в голову ударила, то ли мама прислала вместе с платьем какую-то мелочь, но я решила “кутнуть” и впервые взяла в наем складное кресло и села на пляже полюбоваться морем, веселой толпой, детьми, играющими в песочек. Недолго я всем этим любовалась. Ко мне подошел и почтительно представился красивый, очень высокий человек, с черными густыми волосами, с крупными чертами загорелого лица, с белозубой улыбкой. Оказался он шведом, корреспондентом газеты “Stockholms Tidningen”, а, кроме того, он ежедневно в час дня читал из радиорубки на пляже последние новости для многочисленных шведов, отдыхавших в Пярну. Нильс Леандер — звали его. Он тут же попросил у меня интервью, потом сходил, прочитал свои сообщения и сразу же пошел провожать меня домой. Так мы познакомились. Стали ежедневно встре-

чатся на пляже, в парке, на музыке. Потом я уехала в Таллинн, а он оставался в Пярну до конца сезона. Осенью, приехав только на один день проездом в Швецию, он сделал мне предложение, на которое я, мне тогда казалось, очень рассудительно отве—а, что у нас до следующего лета год впереди и мы оба подумаем. На мои расспросы, не родственник ли он гремевшей тогда по всей Европе кинозвезды и певицы Зары Леандер, он сказал, что это его жена, но что они давно уже развелись. Был он лет на 13-14 старше меня. Сейчас уже не помню. И вот началась наша переписка. Нильс писал почти каждый день. Во всяком случае, если не было в ящике твердого серого конверта с его уверенным красивым почерком, я чувствовала себя не то что обиженной, но несколько обойденной. Говорил он по-немецки довольно бегло, но писал... Этого просто не передать. Полное отсутствие грамматики и масса эмоций. Иногда можно было смеяться до слез, что мы с мамой и делали. Папа всего этого не одобрял. Совершенно не жаждал он, чтобы “какой-то проходимец” увез его дочку в Швецию. Мама была терпимее и спокойнее. Наверное, понимала, что сердце мое не до конца завоевано. Был Нильс очень настойчив в своих письмах. Иначе, как невестой своей, меня не представлял. Был весел и уверен. В начале лета пришло сообщение, что он прибудет пароходом такого-то числа и сразу же не преминет нанести визит моим родителям и официально просить моей руки. Радовало меня, что мы жили уже в красивом новом доме и была у нас хорошая квартира. В предыдущую я умудрилась его так и не впустить. Пароход причаливал утром. Мы с мамой все прибрали, приготовили завтрак. Мама была спокойной, но, конечно, волновалась. Папа не показывался из своей комнаты. Звонок — иду одна открывать. Передо мной его высокая, элегантная фигура. Он входит, наклоняется меня поцеловать, и я ощущаю резкий запах только что выпитого коньяка. Моментальное, твердое и не поддающееся сомнениям решение. Я быстро меняю весь план. Не допускаю его до родителей, бегу к маме — говорю, что мы идем гулять, и, так и не выпус—его из передней, вывожу из дома. Он абсолютно трезв, самоуверен, ни в чем не сомневается, строит планы, не предчувствует никакой грозы. Мы гуляем, разговариваем, где-то пьем кофе. Потом я собираюсь с духом и кратко, но безнадежно уверенно сообщаю ему, что замуж за него я не выйду. Что я не мо-

гу себе представить своим мужем человека, который, идя впервые в дом своей невесты, да еще просить ее руки у людей, которые до сих пор его никогда не видели, выпил бы перед этим для храбрости или просто из привычки хотя бы одну рюмку. Мне это чуждо, непонятно и неприемлемо. Моим родителям тем более. Я встаю со скамейки в парке, где мы сидели на теплом мирном солнышке, подаю ему руку, говорю, что мне очень жаль и ухожу. Он остается сидеть на скамейке. Во время моей отповеди он не произносит ни слова.

Я прихожу домой спокойная, довольная собой. Папы нет дома. Маме я все рассказываю. Она сама потом передаст отцу. Ночью я плачу, но держусь.

На третий день поздним утром раздается телефонный звонок. Незнакомый голос по-немецки просит маму. Звонят из шведского посольства. Некий дипломат на прекрасном немецком просит у мамы разрешения приехать по сугубо срочному делу. Мама разрешает. Звонят в дверь. Я удаляюсь в другую комнату и слышу, что входят двое. Через некоторое время мама меня зовет. При моем появлении встают два совершенно одинаковых человека — оба небольшого роста, уже немолодые рыжеватые блондины. Мы садимся, и они пространно объясняют теперь уже мне, что посольство попало в совершенно недопустимое положение. «В обязанности вашего жениха входит организация встречи и пребывания здесь шведского принца Бернадотта. Он должен приехать в Таллинн через два дня. Ваш же жених, получив ваш отказ, настолько был выбит из колеи и настолько потерял от горя голову, что обосновался в главном зале ресторана “Астория” и не выходит оттуда уже третьи сутки. Все наши меры ни к чему не приводят. Единственный человек, который может “спасти престиж нашей страны” — это вы». Мне надо немножко подумать. Нильс уже не журналист, а дипломат. Под угрозой его карьера, а местных шведов ожидают крупные неприятности. С другой стороны, мне совсем не улыбается мысль идти среди бела дня в большой многолюдный ресторан и вытаскивать оттуда моего бывшего жениха. Я смотрю на маму. Она объясняет мне, что, по мнению наших посетителей, Нильс отнюдь не в том состоянии, что его надо тащить или выводить. Они считают, что мне надо будет посидеть рядом с ним несколько минут, а потом высказать желание покинуть ресторан. Он, как воспитанный человек, пойдет меня про-

вожать, а им главное, чтобы он оттуда ушел. Остальное они берут на себя. А меня целой и невредимой обязуются сразу привезти домой. Как видно, мама дает на это свое согласие, и я иду переодеваться. Посольская машина ждет нас у подъезда. И вот мы все втроем — я посередине, дипломаты по бокам, входим в зал ресторана. Во всю его длину накрыт стол. Человек на тридцать. Во главе стола сидит Нильс. При моем появлении он встает на ноги, но видно, что это исчерпывает все его возможности. Костяшками обеих рук он опирается на стол. Рядом с ним приготовлен прибор для меня. Он, все-таки держась одной рукой за стол, церемонно целует мне руку, и мы усаживаемся. Он такой же, как всегда, только глаза у него красные, вернее, белки его огромных глаз красные, и он молчит. За столом вообще тихо. Кто были люди, делившие с ним эту трапезу, для меня так и осталось тайной. Мне что-то подают, я минут пять пью воду и ковыряю вилкой совершенно неинтересующее меня блюдо. Потом тихо говорю Нильсу, что мне хотелось бы отсюда уйти. «Поедем в твой отель и поговорим». Он моментально встает. Даже довольно уверенно. Раскланивается с участниками этого завтрака, берет меня под руку, и мы выходим в сопровождении тех же дипломатов.

Пути от ресторана до гостиницы “Золотой лев” — двести шагов. Но мы едем на машине. Все еще молча. Наши сопровождающие помогают нам обоим выйти из автомобиля. Мы входим в отель. Какие-то хорошо одетые люди сразу окружают Нильса, что-то ему объясняют, и он, пытаясь мне улыбнуться и сделав знак рукой, что он сейчас здесь будет, поднимается наверх. А мы снова втроем едем на машине ко мне домой. Через три дня газеты полны сообщениями о приезде шведского принца. А к маме с букетом роз приезжают те же рыжеватые блондины и благодарят ее за оказанную их стране услугу.

Через много десятков лет, уже здесь, в Риге, я читаю статью о Заре Леандер. Там рассказаны подробности ее жизни и карьеры и между прочим упомянуто, что она была замужем за известным журналистом Нильсом Леандером, но была вынуждена с ним расстаться, поскольку он был с — но привержен к алкоголю.

Анализируя все происшедшее, я понимаю, что Нильс, разрушив уже один раз свою жизнь, схватился за меня, как за соломинку. Та-

кая молоденькая, серьезная девушка из хорошей семьи — вот кто его спасет, вот кто его удержит, вот кто поможет ему снова сделать карьеру и начать новую жизнь. Зара была звездой, которая не могла заниматься его проблемами. А вот эта будет преданной, заботливой женой, будет жить ради него и семьи. Это и будет счастьем.

Согласитесь, что роль корреспондента газеты в небольшом заграничном курорте не могла удовлетворить способного и умного журналиста. За год нашего жениховства и трезвеннического образа жизни (а об этом говорили все его письма), он сумел сделать колоссальный прыжок вверх. Но ненадолго. Через пару лет, приехав на несколько дней в Пярну, я увидела на стенде пляжного фотографа снимок Нильса, танцующего в воде в окружении дам, мне показалось, несколько экзотический танец. Это означало, что с дипломатией было покончено.

Жалела ли я впоследствии о своем решении? Нет. Никогда. Я за несколько мгновений, может быть, будучи уже и подготовленной в какой-то мере нашим годовым знакомством, поняла, что у нас ничего не может получиться. Слишком разные мы люди.

ЭСТОНСКОЕ РАДИО 1961-1964 ГОДЫ

В конце 1950-х годов, когда дети подросли, я начала подумывать о работе. Уже несколько лет, сидя дома, я хоть и жила в Риге, но переводила на русский рассказы, печатавшиеся в эстонском литературном журнале “Лооминг”^{*} и посылала в русскую редакцию Эстонского радио. Там их всегда принимали, давали в эфир и высылали мне небольшие, но очень нужные мне тогда гонорары. А потом в начале 1960-х пришло из этой самой редакции мне письмо. Им необходим редактор, знающий оба языка, чтобы делать 75-минутную программу “Для тех, кто в море”. Не могла бы я... Вот она — судьба. Я всегда мечтала о редакторской работе. Даже мама предрекала когда-то мне такое будущее. Я уехала в Таллинн, оставив детей на мужа и на няню, хорошо знакомую нам женщину. Жизнь была налажена. Ничего — выдюжат. В Риге я ходила до того к начальнику телевидения с предложением своих услуг. Он задал мне три вопроса: “Вы окончили журналистский факультет?» — “Нет”. — “У вас есть стаж работы в журналистике?” — “Нет”. — “Вы партийная?” — “Нет”. — “О чем же нам с вами говорить?”

А тут, ничего не спрашивая, сами зовут.

Дали блокнот в руки и магнитофон и ни одного врага — только доброжелательных друзей. Двое человек из русской редакции встретили меня особенно приветливо. Это Катя Ерисанова и Костя Любченко. Ерисанова просто по характеру своему очень мягка, ласкова, внимательна. Она всегда и со всеми такая. А Костя — Костя, бывший в войну матросом — таким и остался — душа нараспашку. Веселый, заводной, занозистый и дружелюбный.

^{*}“Looming” (эст.) - досл.: творчество.

Возглавлял русскую редакцию Соломон Маркович Певзнер. Фигура необычайно колоритная. Высокий, широкоплечий, с начинающей седеть и редеть гривой волос, с широким выразительным лицом и орлиным взглядом. Да. Глаза под кустистыми бровями были умными и пронизывающими. Большой характерный нос, похожий на пасть рот. Раз увидишь это лицо и навсегда запомнишь. Человек этот знал себе цену и строго оценивал других. С ним было нелегко. Характер у него был тяжелый, но он был умен, имел свое мнение, и за это многое можно простить. За ним стояла непростая жизнь. Он участник войны. Был тяжело ранен. Лежал в полевом госпитале, его лечили. Временами он терял сознание. Как-то, в такой именно момент, неопытные мальчишки-санитары, решив, что он умер, раздели его, вынесли из палатки и положили на снег. Похоронная команда, мол, унесет. Не сразу, а через некоторое время, проходил мимо его лечащий врач. Увидев Певзнера, поразился — он совсем не был кандидатом в покойники. Послушал пульс — жив. Он его выходил. По профессии Соломон Маркович был журналистом, а теперь правая рука у него была парализована. Писал он левой. С большим трудом. Страшными каракулями. И все равно продолжал работать в газете. Когда началось в конце сталинского режима еврейское дело, Певзнер, долго не раздумывая, уехал из родного Ленинграда в чужую ему Эстонию. Сначала в Кохтла-Ярве, потом переехал в Таллинн. И тут и там работал в газетах. Позднее ему предложили должность старшего редактора на радио. Специфики работы радио он не знал и не очень в нее вдавался. Оставался по существу своему газетчиком. Но редакцию вел твердой рукой. Я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь назвал его просто по имени. Для всех он был Соломоном Марковичем. И для коллег, и для друзей. Для самых дерзких просто Певзнером. Это о многом говорит. Он был идейным, убежденным коммунистом и, несмотря на преследование евреев, поломавшее его судьбу, таковым и оставался.

Таким же идейным коммунистом был и Костя Любченко. Он был трудолюбив, создавал интересные, популярные среди слушателей передачи, а еще он был одержим рабфаковским пафосом. Вел огромную, вполне бескорыстную работу — учил молодежь. Открыл своего рода рабфак. Где-то, иногда на заводе, в доке, выуживал способных юношей и девушек, собирал их по вечерам на радио и вел с

ними занятия. По многу часов. Увлеченно и интересно. Хотя его самого этому никто никогда не учил. Все, кто потом работали в русской редакции радио, — его ученики. Это Герберт Цукер, Ирина Сенько, Нелли Привалова, Валерий Головин. В Эстонии не было журналистского факультета. Они потом поступали в Ленинград на заочный. Но страсть к журналистике им привил именно Константин Дмитриевич Любченко. Я постоянно присутствовала на его занятиях. Мне ведь тоже надо было учиться. Он этому не препятствовал, но меня тактично никогда к их практическим занятиям не привлекал.

Мы с Костей сразу подружились. Каждое утро ходили вместе в кафе на углу Крейцвальда и Рауа. Всем, приехавшим в Эстонию из Советского Союза, страшно нравилось подолгу сидеть в кафе за чашкой кофе. Для эстонцев это обычное времяпрепровождение. Советские же люди видели в этом воплощение буржуазного быта. Было странно, чуждо, но для них, приехавших из страны, где кроме общепитовских столовых с их грязными столами без скатертей, они ничего не видели, этот культ кафе был полон необычайного очарования.

Я к тому времени совсем еще не знала советских людей. Вплотную встретила с ними, пожалуй, только в молотовском НКВД. Свое детство и молодость я провела в Таллинне в эмигрантских кругах и среди членов Русского Студенческого Христианского Движения. Нашими знакомыми в Риге тоже были местные русские. Даже потом в тюремных очередях я встречалась отнюдь не с советскими людьми.

И вот теперь в русской редакции Эстонского радио я впервые оказалась в чисто советском коллективе. Естественно, что взгляд на вещи, манера поведения, психология эстонцев мне зачастую были ближе и понятнее. И они, конечно, это ощущали. Удивительное это было время. Непередаваемо счастливое. Всем эстонцам так нравилось, что после почти двадцатилетнего отсутствия я помню, знаю и люблю их язык. Эстонцы в силу сложившихся обстоятельств необычайно трудолюбивы. Земля, на которой им привелось жить, каменистая. Испокон веков эстонец шел на поле и прежде всего убирал с него как бы вынырнувшие откуда-то камни. Большие валуны и булыжники, камни поменьше и совсем уже маленькие. Все эти камни

он терпеливо складывал в ограду, окружавшую поле, строил из них красивейшие хозяйственные постройки. Все поле как будто начисто от камней убрано, но следующей весной начинается то же самое. И так из года в год. Всю жизнь. Поневоле станешь терпеливым и на редкость усидчивым. Эти свойства в эстонцах воспитывались поколениями. Их умиляло, что мне так неистово хочется работать. А я так по ней, по работе, истосковалась. Мы хорошо понимали друг друга. Мне нравилось, что передача моя нужна и эстонцам, и русским. Это придавало ей особую прелесть. Репортаж по-русски, за ним эстонское интервью, эстонская песня и русские стихи, и снова репортаж, но уже по-эстонски и новости на двух языках. Все это ты можешь сделать сама — записать, организовать, скомпоновать. Каждую песню, каждый кадр. Это только одно название — редактор. На самом деле это создатель передачи от первого слова и до последнего. Складываешь передачу, как пасьянс. Показываешь готовый текст старшему редактору. Получаешь его добро. Заказываешь студию и двух дикторов — эстонца и русского. Записываешь их текст на пленку. Потом монтаж и накладка на музыку с очаровательной, красивой, умной и быстрой Айно Лаури. А дальше с этой уже готовой передачей идешь к верховному судье — к Адо Слуцку.

Адо Слуцк мой ровесник. Мы учились в гимназии в одно время и в одном здании. Только он в еврейской, а я в русской. Знакомы тогда мы с ним не были. На радио про него тихонько говорили, что он после Тарту учился в Париже. “Очень может быть” — казалось тогда мне. Постоянная, никогда не покидавшая его элегантность, свободная, легкая манера себя вести, его эрудиция были тому порукой. Сейчас, когда о Париже можно громко говорить, я спросила у Слуцка и выяснила, что это правда.

Адо Слуцк — это сердце, ум и организационный центр всего радио. Требовательный, знающий от “а” до “я” всю кухню радио, разбирающийся в людях. Обладающий тактом и феноменальной интуицией. Ах, как мне всегда везло с начальниками! Он был очень немногословен. Внимательно прослушает все 75 минут. Молча подпишет и перейдет сразу к какому-то новому делу. Он был одержим работой. Не хвалил. Только когда через три года я пришла к нему сказать, что я ухожу, что из-за семьи должна вернуться в Ригу, он впервые заговорил со мной на личную тему и между прочим сказал, что

будет держать для меня мое место сколько понадобится: “Вы все равно вернетесь. Иначе не может быть”.

А какая удивительная работа — утренний обзор газет. Для этого надо было встать (мне, жившей далеко) в 5 часов, ехать первой электричкой в город, по пустынным гулким, пахнувшим свежестью — только что политым — улицам идти в газетное издательство на самом углу улицы Пикк, около козочки*; в шесть часов забирать свою пачку вышедших сегодня газет и ехать на радио. Там, разложив эти газеты на двух языках по всей комнате, молниеносно их просматривать — отчеркивать все экстренное, все интересное и, вырезав кое-что ножницами, а кое-что передав своими словами, идти диктовать машинистке и бегом, на ходу вычитывая, в дикторскую, где тебя уже нетерпеливо ждет наш талантливый, увлекающийся своей работой режиссер и одновременно диктор Бродский. Уже 7.40, через 10 минут эфир. Уфф! Теперь можно выпить кофе и приняться за свою редакторскую работу.

Я очень любила эти утренние мгновенно пролетавшие часы. А другие наши редакторы ими тягостись. У них были трудности с языком. Заработок был небольшой — 5 рублей. Да и кому охота из-за этого портить ночь? И я их подменяла с удовольствием. Иногда на одной неделе делала три обзора. Так хорошо входить в еще пустой Радио-дом, здороваться с сонным вахтером и бегом на пятый этаж. Быстро, быстро. Каждая минута на счету. Еще одна черточка к характеристике Слуцка. Несмотря на свою перегруженность, он аккуратно, наряду с нами делал еженедельный обзор газет. Казалось бы, занятие не для человека его ранга. Но он понимал, что если не он, то кому-то из редакторов придется делать обзор два раза в неделю. И хотел этого избежать.

А жизнь шла, и я училась дальше. Училась на ходу. Однажды редактор музыкальных передач Вильма Паальма попросила меня написать русский текст к концертам Георга Отса на его гастролях в Союзе.

Назначили встречу. И вот я впервые вблизи вижу знаменитого артиста, да еще далеко не мельком. Держится он очень подтянуто,

* Скульптура Я. Коорта.

подчеркнуто прямо — ну, да это, кроме всего, еще и военная выправка. Он ведь прошел всю войну. Да и наследственное тоже. Его отец — ведущий певец эстонской оперы Карл Отс был та же. Говорит мой собеседник мало, только самое необходимое и тихо.

Я с места в карьер попадаю в глупейшее положение. Объясняется это тем, что я не жила в Советской Эстонии и не знаю того, что знают все эстонцы. Спрашиваю, зачем ему просить кого-то писать русский текст, когда он сам так прекрасно знает русский. Говорим мы с ним, естественно, по-эстонски. И тут я узнаю, что он вообще не владеет русским. “Но вы так чисто поете русские песни — без малейшего акцента”. — “Заучиваю. Я ведь на десятках языков пою, но это не значит, что я ими всеми владею. Помогает, конечно, и музыкальный слух”.

Переходим к делу. Конферансье будет объявлять каждый номер. Отсу хотелось, чтобы текст этот не был стандартным. “Тогда давайте пройдемтесь по всей программе, и вы мне хотя бы намекните, что вам хотелось бы услышать перед каждым номером. Какие-нибудь ваши личные мысли или воспоминания, связанные или с композитором, или с песней”. Понемногу, понемногу что-то намечается. Какие-то зацепки есть. Запомнила только одну. И то не помню, о какой песне шла речь. А было что-то очень знаменательное. Он рассказал, что, когда начал петь эту песню в Финляндии, весь зал встал. Убейте меня, не знаю, что это была за песня. А жаль.* Именно после этого рассказа мне приходит в голову, что как-то у нас неправильно получается. При чем тут конферансье? Как он может об этом рассказать? “Это вы сами должны рассказывать. Так как сейчас рассказали мне. Тогда это зазвучит. Иначе все неестественно”. Он категорически отказывается. Он не может говорить по-русски так много, да еще со сцены. Это не получится. Он будет тянуть, заикаться.

“Тем лучше — запивайтесь, задумывайтесь. Это и будет естественно, а значит, хорошо”. Убеждаю долго. Обещаю сделать текст коротким, очень четким и легким. После всех обсуждений добиваюсь своего. Он мне дает два дня сроку, и мы расстаемся. Как мы встретимся еще раз, уплыло из памяти. С тех пор и пошли многочисленные концерты-беседы Георга Отса на русском языке, которые

* Теперь, перечитывая корректуру книги, мне кажется, что это была песня “Хотят ли русские войны”.

с любовью и увлечением записывал с артистом наш Константин Дмитриевич Любченко.

Как-то на Новый год я решила сделать для моряков расширенную передачу — не 75 минут, как всегда, а без перерыва два часа. Они так ждут там в океане новогодней передачи, а эфир ночью свободен. Переговорила со всем начальством и — пошла писать губерния. В каждую передачу я давала обычно две-три записи из семей моряков. Договаривалась с женой, являлась к ним в дом и подолгу, пытаюсь разговорить и мать, и детей, записывала, наконец, беседу для отца, скучающего в полугодовом рейсе. А тут разошлась — записала аж 24 репортажа. Последняя рыбачка, работавшая от радио неподалеку, сама предложила мне прийти к нам и записать свое выступление в студии. Мне будет так легче. Пришла и даже ребенка привела. Все мы хорошо записали, я им подмахнула пропуск, а сама кинулась в операторскую за пленкой. У меня уже огромный рулон был переписан с ручного магнитофона. И тут я вижу, что белая бумажка, проложенная там, откуда оператору надо было начинать запись, переехала в самое начало рулона. И сразу поняла, что оператор перед записью машинально погасил (для чистоты звука, даже если пленка погашена, многие делали это еще раз) все мои 23 репортажа. Мне стало ясно, что последняя запись стала первой и что придется восстанавливать все предыдущие. Семьи уже знают, что их голоса будут звучать в новогоднюю ночь, они уже дали радиogramмы в море. Нельзя их обмануть. Это было очень трудно — в каждом доме все начинать сначала. Собеседники мои уже выдохлись. Но все сделали и сдали в эфир.

Я работала без выходных, делая по воскресеньям последние известия. Накопив несколько дней отгулов, ехала в Ригу. Насмотреться на детей, приодеть, ободрить, побаловать. В Риге туго было с продуктами. Везла полный чемодан масла, сыру, колбас — всего-всего. Нужен был добавочный заработок.

Позвонили как-то из одного издательства, где я уже раз помогала делать книгу. Они выпускают монографию об известном художнике. Не могла бы я перевести. Могу. Пришел ко мне маленький суевливый человечек. Договорились. Я ему первую часть работы, он мне первую часть денег и т.д. Хорошо. Перевожу, сдаю. Он отдает

первый гонорар. Все это происходит в вестибюле радио. Сдаю вторую часть. Он извиняется, говорит, что деньги принесет в следующий раз. Что же делать — не с улицы же человек, никуда не сбежит. Перевожу дальше. Но и на третий раз денег он не приносит. И вот приходит день сдачи последней части. Я ему по глупости и ее отдала, а он обещал через два часа прийти и принести деньги. Я вынуждена была согласиться, но тут уж забила тревогу. Решила принимать его не внизу, а у себя в русской редакции. Попросила наших двух мальчиков под видом возни с магнитофоном записать весь наш с ним разговор. Мальчикам интересно — криминал. Они занимают свой пост у соседнего стола, вернее, в углу за ним. Беда в том, что в нашей редакции никто не говорил по-эстонски, и об этом в городе знали. Поэтому и обращались во всех случаях ко мне. Так что свидетелей у меня не будет, да по советским законам и запись магнитофонная в суде не признается. И тут я встречаю в коридоре Эрвина Мартинсона. Он эстонец, старший редактор обменных передач. Я на него налетаю, объясняю свою ситуацию. Прошу подарить мне полчаса. Он сразу соглашается. Договариваемся, что когда мой автор снизу позвонит, я позову Эрвина, он сядет у нас в комнате в кресло и закроется русской газетой, которую все время будет усердно читать. Звонит автор, просит спуститься вниз. Я прошу его наоборот, подняться наверх — я жду срочного дальнего разговора. Он приходит, садится. Молчит. Я спрашиваю, где деньги. Он отвечает, что денег нет. “А когда будут?” — “Не знаю, — говорит он. — Я пришел предложить вам длительную рассрочку”. Обычно тихий и загнанный, он явно начинает наглеть. “Договор-то мы с вами не подписывали, а?” — “Ну и что, что не подписывали. Вы не торговец на рынке, вы монографию создали. И большую. При чем тут письменный договор? Мы же с вами договаривались?” — “Договаривались. Но все дело в том, что нашего разговора никто не слышал. И свидетелей нет”. И тут разражается буря. Эрвин, человек вспыльчивый, отбрасывает газету в сторону, вскакивает со своего кресла и начинает орать. Не кричать, а именно орать. По-эстонски. На чистом эстонском языке. Начинает он совсем уж невероятно. Дело в том, что если в фамилии этого несчастного изменить чуть-чуть буквы — получается слово “проходимец”. Эрвин кричит: “Вы не такой-то, а вы проходимец. Как вы, работник издательства можете так

себя вести? У вас нет договора? У вас нет свидетелей? Так вот. Если сегодня к пяти часам вы не принесете в мой кабинет весь свой долг целиком, то я, Эрвин Мартинсон, вам обещаю, что вы не только завтра же вылетите со своей работы, но и не будете отныне работать в Эстонии вообще. Всякая интеллигентная работа будет для вас заказана. Все. Можете идти". Маленький человечек с самого начала этой тирады вскочил и все время, что Мартинсон кричал, он стоял, повернувшись к нему лицом и мелко, мелко кланялся. Потом поклонился нам всем и вышел. Деньги он принес. Мартинсона на месте не было, и бедняга впал в невероятную панику. Он должен отдать их только ему. Он умолял меня найти Эрвина, иначе ему конец. Мартинсон был известный по тем временам журналист и человек, обладавший большими возможностями. Он пришел. Сел за свой стол. Молча принял деньги. Дал мне их пересчитать и молча указал тому на дверь. После этого я пригласила всю нашу редакцию и, конечно, Эрвина в кафе праздновать нашу победу. Сумма эта была тогда для меня очень значительной. И мы все веселились, а Эрвин заслуженно чувствовал себя королем. Без него я вряд ли бы чего-нибудь от этого человека добилась. Тут мне хочется отступить от темы радио и рассказать, мне кажется, любопытную историю об еще одной финансовой неурядице.

Она носила более затяжной характер. Эстонский драматический театр решил ставить на своей сцене "Пер Гюнта" Ибсена. Не помню уже, кто из авторов создал эстонский текст. Мне предложили его перевести на русский, чтобы он мог звучать для русской публики в наушниках. Эстонский театр был на очень высоком уровне, и русские ходили с интересом на его спектакли. Кроме того, русский текст нужен был для Москвы, куда театр собирался везти "Пер Гюнта". Ну кто откажется от такой поэтической работы? Я взялась. Подписали договор с Министерством культуры о переводе, как обычно по два с половиной рубля за страницу. Прочитала текст. Эстонский автор в своих стихах очень вольно переводил Ибсена. Но это, собственно, не мое дело. Мое дело переводить с эстонского. И тут натолкнулась на непредвиденное препятствие. До сих пор я всегда работала, не связанная длиной текста. А здесь ведь перевод должен быть синхронным — он должен звучать фраза в фразу, не дольше и не короче. Как ни кручусь, как ни изворачиваюсь, не укладывается

текст в нужное мне время. Долго я маялась. И поняла, что ничего не выйдет. Эстонский всегда несравнимо короче русского. То, что по-эстонски можно сказать пятью короткими словами, для русского языка нужно по меньшей мере семь, а то и восемь слов, да еще какой длины! Время течет, договор висит над головой. А тут у меня случился первый в жизни сердечный приступ. С вызовом скорой помощи и бюллетенем на три недели. Мне очень пригодились эти три нед—. Приказано было лежать не вставая. Это и спасло моего Пер Гюнта. Нужен был такой неожиданный покой и тишина, чтобы прийти к единственно возможному решению. Все очень просто — надо стихи переводить стихами. Стих всегда короче прозы. Там одним словом можно обозначить целое понятие. И я приступила к переводу. Рядом с каждой эстонской строкой выписывала весь стихотворный размер, а потом к нему подгоняла рифмованный текст. Работа была адская, но очень интересная. К концу своей болезни я перевела всю пьесу, и вышло у меня 57 страниц. Только песню Сольвейг я оставила целиком в том виде, как она звучит в привычном для нас переводе Ханзенов. Она укладывалась в нужную длину, и в таком случае не мне покушаться на мастеров перевода. Сделала работу в срок и, что называется, отложила попечение. Теперь остается только ждать от Министерства выплаты гонорара. Но время тянется, а денег нет. И деньги-то по сравнению с положенным на это дело трудом — грошовые. Меньше 150 рублей. Стала звонить — мнутя и кряхтят. Стала ходить в Министерство — все то же. Потом начали упрекать меня, зачем перевела стихами. Никто этого не просил. Объяснила суть дела — не доходит. Мы этого не заказывали. Договор этого не предусматривает. Тут я поняла, что они в полном замешательстве именно из-за поэтического перевода. Стихи опла—аются построчно и по сравне— с моими 150 рублями это получалась астрономическая цифра. Пошла в общество защиты авторских прав. Они ухва—и сразу тему разговора и ответили мне быстро и откровенно: “Вы имеете все права требовать оплаты, исходя из вынужденного стихотворного перевода. Но для этого надо подавать дело в суд. Процесс вы несомненно выиграете, но несомненно и то, что после суда вряд ли кто-нибудь захочет иметь с вами дело. Решайте сами”. А мне и решать нечего. Я и не думала о большом гонораре. Мне бы свои 142 рубля получить. Иду в Министерство. Говорю: “Имейте в

виду, я не претендую на гонорар по стихотворным ставкам. Дайте мне мой обычный и дело с концом”. Они обрадовались, но тянулось это еще очень долго. Наткнувшись на песню Сольвейг, которая у всех на слуху, они решили, что это плагиат. И что такого должно быть много в тексте. И стали сравнивать Ханзенов со мной из строки в строку. Незавидное занятие, а главное, надолго. Только когда мой хороший друг сказал министру на каком-то приеме, что у него в хозяйстве большие беспорядки — автору не платят по полгода малюсенького гонорара, меня на другой же день вызвали в Министерство и, кланяясь почти что в пояс, извиняясь и выражая надежду на дальнейшее сотрудничество, выдали деньги. Такие вот дела.



Адо Слуцк.
Начало 1960-х гг.

А тем временем Адо Слуцк уловил в воздухе идею, что скоро все океаническое рыболовство Прибалтики будет объединено в единое целое с центром в Риге (будущая “Запрыба”). Он понял, что наша передача “Для тех, кто в море” будет ликвидирована и очень оперативно перевел меня в редакцию “Последних известий”. Я попала на место Лили Соколинской. Очень деловая и толковая, владевшая двумя языками, Лиля была на своем месте. Теперь она выходила замуж и уезжала в Тарту.

Как в русской редакции, так и в “Последних известиях” от меня не требовали политики. Эстонское радио этим вообще отличалось. Были политические комментаторы, редакция общественно-политических передач и только. К остальным особым претензий не предъявлялось. Дашь в начале одну-две информации ТАСС и ЭТА — и все. Главное, чтобы выпуск был интересным и оперативным.

Я, редактор русских “Последних известий”, работала в одном помещении с эстонцами. Здесь работы было несравненно меньше и очень уж приятное было окружение. Вся эстонская редакция была подобрана — мне тогда казалось — исходя из моральных качеств сотрудника. Такие все были милые, спокойные, ровно и хорошо работавшие люди. И что очень важно — чуждые каких бы то ни было интриг. Тедер, Авила, Маркус, Нурмоя — как дружно и мирно

мы жили. Как они все помогали мне поначалу. Я с техникой совсем не в ладах. Старалась их ни о чем не просить, но они сами, заметив у меня затор на большом магнитофоне, терпеливо, снова и снова объясняли, когда нажать педаль, когда отпустить, да мало ли чего я тогда еще не знала. И все это они делали с улыбкой, казалось, даже с удовольствием. Как не хотелось мне с ними потом расставаться.

Был на эстонском радио один человек, о котором я не могу умолчать. Это Куно Тамре. Он уезжал в Москву на два года учиться журналистике. Потом вернулся и снова работал на Эстонском радио, затем на несколько месяцев стал корреспондентом по Эстонии редакции “Атлантика”, в которой я много лет была редактором, вернувшись из Таллинна в Ригу. Он был очень больной и очень несчастный, Куно Тамре. Как-то он лежал в больнице в Тарту, и я позвонила доктору Пашкову. “Это уникальный человек, — сказал доктор. — Он так страшно болен, насквозь болен. Казалось бы, давно, уже долгие годы назад ему надо было бы сдать. У него нет уже ни одного органа здорового. А он все не сдается и, лежа в больнице, еще чему-то учится. Его можно только жалеть”.

Да, он все время учился. Одинаково знал эстонский, русский, немецкий. Знал финский. Учил испанский. На радио приходил рано-рано. Делал обзор газет, потом “Последние известия”, тогда уже все нештатно, потом шел в город и приносил хороший, добротный репортаж. Он не был сверкающе талантлив, но чрезвычайно усидчив. Трудоспособность его приводила в изумление. Как это можно все успеть? Был тихим, неразговорчивым и старался быть незаметным. Он долго болел, уже не выходя из дома, и умер в страшной нищете. Совсем еще молодым. Бедный, несчастный, оставшийся в жизни никому не нужным, Куно Тамре.

Тогда шла на Эстонском радио ежедневная, очень интересная передача “Räevakaja” — “Эхо дня”. Это было детище Слуцка. Ее слушала вся республика. Работали там асы своего дела. Замечательные журналисты — Пант, Лаури, Каазик... Пант скоро умер, и я не сумела за короткое время проследить за его манерой. Зато два других — на их работу я смотрела и их слушала специально. Такой блистательный радиожурналист, как Лаури, мне на моей долгой жизни на радио больше не встречался.

Один случай мне запомнился как урок для каждого, кто хочет встать на эту стезю. Ведущий художник Эстонии Окас вернулся из поездки в Японию. В начале 1960-х явление не такое уж частое. Я дерзко ему позвонила и попросила об интервью. Он согласился приехать на радио. Я картавлю, и за этот изъян не была допущена к микрофону. Ни в Эстонии, ни в Латвии. Ну что делать, такая уж беда. Да, надо признаться, и репортерского таланта во мне ни на грош: не умею я разговаривать, мне дано только слушать. А тут ходит по русской редакции молодой человек — только что появившийся на нашем горизонте. Утверждает, что он журналист. Ходит неприкаянным. И я, неумеха, предлагаю ему взять интервью у Окаса. Парень сомневается. Я говорю: “У вас целые сутки впереди. Подготовитесь как следует и... была не была”. Заказываю студию. И тут мне звонит Лаури, и по его тону я понимаю, что он мной недоволен. Не должна была перебегать ему дорогу. Договариваемся, что сначала несколько минут Окас поговорит по-русски, а потом перейдет в руки Лаури. На другой день я стою в аппаратной, а за стеклянной стеной мой беспомощный якобы “репортер” пытается говорить с Окасом. Один плоховат в русском языке, а другой плох во всем. Полная катастрофа! Кое-как заканчивают. В студию входит Лаури. Я остаюсь слушать. Это не интервью, а поэма. Лаури готовился не один час и не один день, а всю жизнь. Он свободно говорит о разных японских школах живописи. Называет имена, твердо ведет разговор. Переходят на саму страну, на пейзажи, на красоты — мне так интересно, что дух захватывает. За десять минут передо мной раскрывается замечательная, уникальная страна и ее уникальная живопись. Я понимаю, ничего чистить не надо. Монтажа не будет. Вот так, с ходу, можно давать в эфир. Это чудо. Нет, не чудо, а многолетний, упорный, непрерывный труд, любовь к своему делу и талант от Бога. Удивительное, редкое сочетание. Это Лаури.

А Феликс Каазик? Этот совсем в другом роде. Лембит Лаури горд и независим — он знает себе цену. Каазик скромн и совершенно не подозревает, что он в своем деле тоже уникал. Он работает в другом амплуа. Он репортер. Сиюминутный. Ас по быстроте и толковости. По умению пробиться, добиться, сделать и сдать. И все за какой-нибудь час.

Помню случай его триумфа. Приезжал в Таллинн президент Финляндии Урхо Калева Кекконен. Между выходом в эфир эстонских и русских новостей очень маленький интервал. Я прошу Каазика сделать на аэродроме кусочек и для меня. Не могу же я дать новости без этого ключевого события. Он соглашается. Я заранее подготавливаю все остальное к эфиру. Провожу через цензуру. Получаю подпись Слуцка. Он по совместительству, скорее всего из любви к делу и понимая, что без него все пойдет наперекосяк, не только главный редактор информации, но и главный редактор русских передач. Прошу его перед шестью не исчезать. Каазик делает два репортажа. Слуцк говорит, что это авантюра. “Ему надо добратся из аэропорта — он физически не успеет”. Я все это понимаю. Приезжает Каазик. Самолет опоздал, официальная церемония затянулась. У него каждая минута на счету. Бегу вместе с ним в операторскую. Он уже в машине наговорил свой эстонский текст. Руки оператора, как птицы. Каазик бежит к машинистке, к цензору, к Слуцку и в студию. Эта новость должна идти первой. Он влетает снова к нам. Идет монтаж. Я слушаю, как Председатель Верховного Совета Эстонской ССР Мююрисепп, с трудом изъясняясь по-эстонски (он эстонец из России), приветствует президента Финляндии. Затем отвечает финн. Это невероятно, но он, желая, очевидно, подчеркнуть особое отношение к Эстонии и вообще по своей воспитанности, произносит ответную речь на эстонском. На чистом эстонском. Я понимаю — язык братский, поэтому нет акцента, как у Мююрисеппа. Но чтобы так владеть языком? Вряд ли. Скорее всего свою речь он выучил, тем более, что она достаточно коротка. Но честь ему и слава за такое уважительное отношение к живущим за железным занавесом, но почти родным по корням эстонцам. Мы работаем уже в другой операторской. Мне остается десять минут до эфира. Я звоню цензору и Слуцку. Это недопустимо, но у меня аврал, и я прошу их обоих в виде исключения спуститься в операторскую и прослушать передачу здесь, пока мы ее после монтажа переписываем начисто. Иначе нам не успеть. Они сбегают вниз одновременно. Так. У меня есть обе подписи. Я лечу в дикторскую подсунуть в уже сданный текст последних известий эту главную новость. Диктор Бродский уже не в дикторской, а в студии — сейчас начнется эфир — полминуты. Я выбегаю из студии, и он начинает. “Авантюра” удалась. Вот какой репортер был Феликс Каазик, одинаково владевший двумя языками.

Поразительна эта атмосфера всего Радиодома. Если у тебя горит, то все стоят готовыми к эстафете — все начеку. Чтобы там ни было, никто не отлучится со своего места. Никакого равнодушия, никакого отчуждения. Каждая передача наша. Всех нас — начиная от шофера и кончая Слуцком. Необычайная подтянутость всего технического корпуса. Входишь к ним — и все готовы помочь, объяснить, поработать в сверхурочное время. Честь Радиодома — вот, что для них главное. Для них и для всех. Вот почему об Эстонском радио говорили по всему Советскому Союзу. В радиокругах, конечно.

И мне предстоит со всем этим расстаться и уехать. Временами это кажется непосильным. Не могу я от них от всех оторваться, бросить такую работу, таких коллег, таких начальников. Но надо. И я уезжаю. Я не вернусь, как предсказывал Слуцк. Не вернусь.

Рига

1997-1998

С о д е р ж а н и е

Мне кажется, что мы не расставались	3
Ревель, Беженцы. Наша семья.	3
Общество помощи больным беженцам	17
Бывшие военные	23
Близкие люди	31
<i>Семья Колзаковых</i>	31
<i>Семья Гизетти</i>	33
<i>Семья Немировичей-Данченко</i>	35
<i>Булатовы</i>	38
<i>Кашневы</i>	40
* * *	
Штакельберги	44
Р С Х Д. 1920-30-е годы	47
1940-1941 годы	64
Немецкая оккупация	91
Рига-Молотов-Рига	115
Отрывочные воспоминания разных лет	151
Весна 1935 и дальше...	151
Поездка в Германию в 1936 году	157
Как меня воспитывали	162
Мой старший брат	164
Кажется, я подумываю о замужестве	167
Эстонское радио	174

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "АЛЕКСАНДРА"

1990

- Бродский И. Стихотворения. 256 с.
Гроссман В. Все течет. *Повесть*. 180 с.
Доил А.К. Собака Баскервилей. *Повесть*. 152 с.
Ерофеев В. Москва-Петушки. *Повесть*. 140 с.
Лукьянов А. Потребности-занятость-управление. 142 с.

1991

- Анохина И. Витражи для птиц. *Стихи*. 68 с.
Гладилин А. Французская ССР. *Роман*. 112 с.
Жильяр П. Трагическая судьба русской императорской фамилии. 96 с.
Котиев Ю. Покупаем иностранный автомобиль. 160 с.
Кузнецова С. Подворье. *Стихи*. 64 с.
Перелыгин В., Самойлов Д. Пярнуский альбом. 64 с.
Хлопонина М. Тени. *Стихи*. 88 с.
Шмидт В. В пути. *Стихи*. 88 с.

1992

- Батшев В. Вещие сны. *Фантастический роман*. 132 с.
Губин В. Времена не выбирают... *Воспоминания*. 104 с.
Дюма А. Три мушкетера. *Роман*. 556 с.
Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т. 1. 478 с.
Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т. 2. 478 с.
Мережковский Д., Гиппиус З. Стихотворения. 94 с.
О возлюбленных и желанных: *Любовная новелла Возрождения*. 96 с.
Прайсман Л. Дело Дрейфуса. 158 с.
Самойлов Д. Из последних стихов. 80 с.
Сафонов М. В странный город мы попали. *Стихи для детей*. 32 с.
Esop E. Magamata õõd. *Romaan*. 104 с. (На эст. яз.: Эзоп Э. Бессонные ночи. *Роман*.)

1993

- Гайлит А. Тоомас Нипернаади. *Роман, новеллы*. 416 с.
Кашнева Т. "Земная коротка наша память..." *Воспоминания*. 218 с.
Лотман Ю. Избранные статьи в трех томах. Т. 3. 494 с.
Оппенгейм О. Времена другие. *Новеллы*. 32 с.
Труль И. Куда улетают медведи. *Повесть для детей*. 78 с.
Autokataloog: Välismaa autod. 128 с. (на эст. и рус. яз.)
Kotijev J. Välismaa autod. 224 с. (на эст. яз. Иностранные автомоб—)

1994

- Калаус Н. "Мне снилась заря золотая..." *Стихи*. 60 с.
Литературный процесс и проблемы мировой культуры. Составитель С.Н.Доценко. 104 с.
Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. 216 с.
Лутс Х., Лутс Э. УКВ ЧМ-трансивер. 64 с.
Нерлин Н. Разрыв-трава. *Стихи*. 80 с.
Талгре М. Лео – судьба эстонца. *Роман-репортаж. Перевод со шведского*. 304 с.
Хлебникова-Смирнова К. Мои воспоминания. 160 с.
Булгаковс— сборник, 2 (совместно с издательством "Авенариус"). 150 с.

1995

- Православная Церковь Святителя и Чудотворца Николая Мирликийского. (совместно с ЭКЦ "Русская энциклопедия"). 96 с.
Юрий Катцманн. Белые тени. *Роман*. 380 с.
Всеволод Губин. Времена не выбирают... *Второе, дополненное и исправленное издание*. 208 с.

1996

Эдуард Гильц. Кто я? Стихи и иллюстрации автора. Книга для детей. 16 с.

Нильс Ферлин. Стихотворения. Перевод со шведского Михаила Сафонова. 80 с.

Михаил Лан. Мандельштам и Пастернак. Опыт контрастивной поэтики. 176 с.

Елизавета Рихтер. Кто и как жил на земле Эстонии: Этнографические очерки. 96 с.

Актуальные проблемы современной Эстонии. Материалы общепартийной теоретической конференции ОНПЭ. 112 с.

Всеволод Губин. Все это было: Стихи разных лет. 80 с.

1997

Карл Ристикиви. Зубы дракона. Песнь радости: Романы. Перевод с эстонского. 542 с.

Александр Генис. Вавилонская башня: Искусство настоящего времени. Эссе. 180 с.

Ингмар Бергман. Картины. (Совместно с Музеем — о, Москва.) 440 с.

Учу и учусь: Творческие разработки учителей русских школ. 72 с.

Борис Киселев. Машина-шина и яхта-ахта: Детские песни. 12 с.

Земельное законодательство в действии: Сборник докладов семинара в Стокгольме, июнь 1996. 104 с.

Владимир Микушевич. Проблески. 416 с.

Борис Парамонов. Снисхождение Орфея: Русские писатели и коммунизм. 218 с.

Нэлли Абашина-Мельц. Я не стихи пишу, слагаю в строки жизнь: Из семейного альбома. 48 с.

Всеволод Губин. Париж в моих воспоминаниях. 48 с.

1998

Владимир Микушевич. Власть и право: Соблазн и угроза тоталитарной демократии. 296 с.

Михаил Сафонов. От синей воды до огня: Стихи. 108 с.

Всеволод Губин. Европа, Азия и Африка: По следам экскурсии Союза академических женщин Эстонии под руководством З.Н.Дормидонтовой. 1938 год. 56 с. Иллюстрирована.

Юри Куускемаа. Estica: Культура и история. 120 с. Иллюстрирована.

Андрей Анисимов. Альпий чиж: Проза ("Библиотека журнала "Таллинн"). 200 с.

Алексей Ольгин. Вагон и маленькая тележка: Забавные рассказы. 104 с.

Таллиннское кладбище Александра Невского/ Tallinna Aleksandr Nevski kalmistu. Буклет ч/б. На русск. и эст. яз. А/4

The Alexander Nevski cemetery in Tallinn. Буклет цветной. На англ. и русск. яз. А/4

Андрей Анисимов. История о том, как я в городе Жуковском на улице Гагарина не написал книгу. 16 с.

1999

Георг Леец. Абрам Петрович Ганнибал: Биографическое исследование. 200 с.

Новая эстонская новелла. 1990-е годы. Перевод с эстонского. 200 с.

Владимир Микушевич. Сонеты к Пречистой Деве. 56 с.

Андрей Анисимов. Мы все эмигранты в России: Стихи. 48 с.

Дмитрий Красавин. Василиада: Рассказы. 132 с.

М.С. Плюханова. "Мне кажется, что мы не расставались..." 192 с.

Андрей Анисимов. Нудисты не играют в гольф. 210 с.

Юрий Иваск. Похвала российской поэзии. 232 с.



Publisher Nelly Melts

Box 445 Tallinn 10101 Estonia

☎ (372 2) 539 - 510, (372) 6 443990

Fax (372) 6444 208

mmelts@hotmail.com

Printed by Kommunaalprojekt Ltd.

**С 1996 года выходит
БИБЛИОТЕКА журнала "ТАЛЛИНН"**

1. **Михаил Лотман.** Мандельштам и Пастернак: *Опыт контрастивной поэтики.* – Таллинн: "Aleksandra", 1996. 176 с.
2. **Александр Генис.** Вавилонская башня: *Искусство настоящего времени.* – Таллинн: "Aleksandra", 1997. 180 с.
3. **Владимир Микушевич.** Проблески.
– Таллинн: "Aleksandra", 1997. 344 с.
4. **Борис Парамонов.** Снисхождение Орфея: *Русские писатели и коммунизм.* – Таллинн: "Aleksandra", 1997. 180 с.
5. **Андрей Анисимов.** Альый Чиж: *Проза.* – Таллинн: "Aleksandra", 1998. 196 с.
6. **Георг Леец.** Абрам Петрович Ганнибал: *Биографическое исследование.*
– Таллинн: "Aleksandra", 1998. 200 с.
7. **Новая эстонская новелла: 1990-е годы.** *Перевод с эстонского* – Таллинн: "Aleksandra", 1999. 304 с.
8. **Юрий Иваск.** Похвала российской поэзии: *Эссе.* – Таллинн: "Aleksandra", 1999. 220 с.
10. **М.С. Плюханова.** Мне кажется, что мы не расставались... *Воспоминания.* – Таллинн: "Aleksandra", 1999. 188 с. Ил.

Готовится к изданию:

9. **Иван Иванов.** Трансвааль, Трансвааль... *Повести и рассказы.*

Юри Куускемаа. Легенды и были Старого Таллинна.

Михаил Эпштейн. Русский постмодернизм:

*"Гипер" в культуре XX века *Синяевский как мыслитель
*Интернет как литература *Информационный взрыв и травма постмодерна